

АБДУЛЛА МУРАДОВ



БЕЛАЯ МГЛА

Героя повести «Белая мгла»

девятнадцатилетнего Дурды, процесс нравственного взросления которого мы наблюдаем, нельзя назвать человеком счастливой судьбы. Родители любимой им девушки — враги его семьи, и он теряет невесту. В городе, куда Дурды приезжает учиться в институте, его вовлекают в свою компанию проходимцы, спекулирующие дефицитными товарами, и только вмешательство друзей помогает ему правильно понять происходящее. Дух комсомольского товарищества, жизнь в студенческой коммуне решительным и благотворным образом влияют на судьбу Дурды, помогают ему сформироваться нравственно, повзреть, найти свое место в жизни.

Вторая повесть сборника — «Ночи, ночи... и день» — тематически близка первой. В центре внимания автора здесь также пути духовного взросления, человека, восприятия им нравственного опыта своего народа.



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“ 1971 .



АБДУЛЛА МУРАДОВ

ПОВЕСТИ

БЕЛЫЕ МЛАДЕНЦЫ

С (Туркм) 2
М91

*Авторизованный перевод с туркменского
Эмиля АМИТА*

7-3-3

256-71



БЕЛАЯ МГЛА

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Уже, наверно, было за полночь. Я зачитался до рези в глазах и не заметил, как быстро пробежало время. Спать все еще не хотелось. Но утром надо было не опоздать на лекцию в институт. Я положил книгу на тумбочку и, нащупав кнопку настольной лампы, выключил ее. Окно сразу же отпечаталось на черной стене белым квадратом. С улицы в комнату просачивался холодный рассеянный свет, постепенно выбелял стены. Во дворе удивительно светло было и слышно, как о стекла, заиндевевшие по краям, словно окаймленные кружевом, с шорохом бились ночные мотыльки. Я понял: идет снег. Первый снег в этом году.

Я закрыл глаза, стараясь уснуть. И снова, совсем не ко времени, вспомнился Орунбай. Я даже вздрогнул, будто мне за пазуху сунули пригоршню снега. Да, Орунбай... Предал меня Орунбай... Иначе, как предательством, его поступок не назовешь. Доверился человеку, открыл ему такое, о чем никому не рассказывал. А он... Хорош друг! Ладно, спасибо и на том — научил меня жизни: впредь буду осмотрительней. Ведь Художник предупреждал... Да что толку бежать по воду, когда пожар потух. Только интересно, что скажут ребята, когда узнают от Орунбая о моих проделках. Здороваться перестанут? Морду мне набьют?.. А мне плевать. Всяк живет по-своему. Небось плов мой ели с аппетитом, когда я их угощал...

В углу под шкафом шебаршила мышь. Я протянул с кровати руку и, взяв ботинок, швырнул его под шкаф. Стало

тихо. Только слышно было, как снег шелестит, ударяясь о стальные стекла, да ветер, будто на флейте, наигрывает в трубе. Уголь, видать, в печи выгорел. Ленъ выбираться из нагретой постели, чтобы задвинуть заслонку. Я подтянул одеяло к подбородку, чтоб до утра не выдуло из-под него тепло.

Я уже засыпал — уже налились тяжестью веки, но опять шорох какой-то послышался в комнате. Потянулся было за вторым ботинком, но на этот раз кто-то скребся в дверь. Наверное, хозяйка забыла впустить кошку. Однако стук в дверь, тихий и нерешительный, повторился. «Не одного меня мучает бессонница», — подумал я, вставая с кровати. Включил настольную лампу и, прошлепав босиком к двери, откинул крючок.

Пришлось попятиться, пропуская в комнату квадратного, ссутулившегося — то ли от холода, то ли согнутого горем — человека. Я даже растерялся, потому что поднятый ворот овечьей дубленки и низко надвинутая лохматая шапка не давали разглядеть лица пришельца.

— Эссалам алейкум, — поздоровался гость низким, простуженным голосом и, стянув варежки, протянул мне обе руки, покрасневшие от мороза.

Голос этого человека мне показался знакомым, и первым моим порывом было пожать его руку. Но что-то остановило меня, и я сперва внимательно взгляделся в его лицо. Узнав своего полуночного гостя, я растерялся еще больше. Торе-усач! Что ему нужно? Какая кривая привела его ко мне?..

Я сделал вид, будто не заметил его жеста, и, не подав руки, сухо сказал: «Алейкум эссалам. Проходите», — и указал на единственную табуретку в комнате, стоявшую около стола.

Торе-усач снял шубу и, встряхнув ее, повесил возле двери. С шапки тоже смахнул талый снег, сунул ее в рукав. Сел на табуретку, уперев руки в колени и растопырив локти, и сразу стал похож на потрепанную хищную птицу. Когда они устают, вот так же садятся на какой-нибудь холм и, нахох-

лившись, безучастно глазают по сторонам. «Как он за эти два года изменился! — подумал я. — Он и вроде бы вовсе не он». Трудно предположить, что можно так быстро состариться. Видать, не от холода стал он сутулиться. Нос заострился. Щеки запали, появился нездоровый румянец. Глаза провалились и смотрят будто из двух глубоких темных пещер. Складки по краям рта углубились и, прячась за поредевшими усами, спускаются к подбородку. А сами усы, прежде смольно-черные и пышные, грозно торчавшие в обе стороны и заметные, если даже смотришь Торе в затылок, теперь поникли, словно крылья подбитой птицы. Даже голос у этого человека стал не тот, что прежде. Когда-то он походил на звук железа, что гремит на наковальне под молотом. А теперь стал слабым и доносился как из надтреснутого тюдика.

Гость невидящим взглядом уставился в угол, наполненный мраком, где снова, осмелев, зашебаршила под шкафом мышь. Он еще ни разу не посмотрел на меня, и я не видел его глаз. Интересно, какие у него теперь глаза?

Торе-усач устало провел по лицу ладонью, будто стирая с него капельки талого снега. Развязал платок, обмотанный вокруг шеи, неторопливо вытер им вспотевшие под барашковой шапкой лоб и затылок.

— Ну, как теперь твоя жизнь в Ашхабаде? — заговорил он наконец.

— Сами видите. Снимаю квартиру, — сказал я.

— Ты молодец, не забываешь родных, часто пишешь...

Я несколько секунд смотрел на Торе в упор. Меня даже в жар бросило оттого, что он, Торе-усач, смеет говорить о моих родных. Я чуть не задохнулся от злости, но все-таки постарался сдержаться: кто бы он ни был, он мой гость, обычай предков повелевает быть гостеприимным.

— Не вам печалиться о моих родных, — сказал я. — Нас теперь осталось всего трое: брат, я да сестренка-школьница. Не умер бы отец, может, и мать бы еще жила...

— Эх-хе-хе, — шумно вздохнул Торе-усач и, немного

помолчав, добавил: — Вижу, все еще считаешь меня виноватым в смерти отца...

— Да! Это вы все тогда подстроили! — закричал я, сорвавшись, но тут же взял себя в руки.

Мы долго молчали.

Потом он, уставившись в пол тусклыми зеленоватыми глазами с нависшими пухлыми веками, тихо сказал:

— Я, Дурды, не для ссоры пришел к тебе. Знаю, что не могу рассчитывать на твою любовь. Но все-таки мой возраст и моя поседевшая голова требуют почтения. Поэтому, прошу тебя, наберись терпения и выслушай меня...

— Скоро начнет светать. Поговорим лучше утром, — сказал я и нарочито громко зевнул.

Торе пожал плечами.

— Хорошо. Будь по-твоему. Но знай, у меня к тебе большая просьба, Дурды. Очень большая...

Его взгляд скользнул мимо меня и остановился на фотографии моего отца, висевшей в небольшой рамке над кроватью. Разговаривая со мной, он избегал моего взгляда, но встретился взглядом с моим отцом. Усмехнулся и воскликнул неожиданно громко, будто встретив старого друга:

— Ого! Это не Курбана-ага портрет? Золотой был человек, бедняга! Хлебосол, каких не сыскать. Друзья часто собирались в те времена у вас в доме. Мне часто доводилось делить с ним...

— Торе-ага, не будем говорить об этом! — перебил я его. Он замаялся. Принялся вытирать платком шею и лоб.

Я закрыл дымоход, постелил у печки свое ватное одеяло, вместо подушки свернул и положил под голову пальто.

— Ложитесь на кровать. А накрыться вам придется своей шубой, — сказал я.

— А ты чем накроешься? — спросил Торе.

— Обо мне не беспокойтесь. На один край одеяла лягу, другим накроюсь. Не привыкать.

Торе стоял около этажерки и рассматривал книги, при-
трагиваясь к каждой рукой.

— Неужели ты все это прочитал?

Я уже улегся и промолчал.

— Ума не приложу, как у вас, молодых, хватает терпе-
ния и времени читать книги! Может ли столько уместиться
в одной голове. Ах да! Это у тебя, наверно, по наследству...
Твой покойный отец чего только не знал! Даром, что чабаном
был, иной ученый столько не знает. Бывало, приду на пастби-
ще, сидим всю ночь у костра, а твой отец рассказывает
и рассказывает — всякие народные сказания, дестаны. Так и
просидим, бывало, до утра, не сомкнувши глаз. Откуда он
брал их столько?.. Хотя не мудрено. Чабаны за рассказами
время коротали. А у отца твоего память была хорошая —
запоминал. Да и пересказывать умел как никто другой. По-
дручные слушают, бывало, рты поразевают.

Я сделал вид, что сплю, но Торе не умолкал. А я не мог
слышать его голос. Приподнялся на локте и оборвал речь
гостя:

— Я вас просил не говорить о моем отце!

Торе-усач осекся и едва не выронил книгу, которую пере-
листавал, но через несколько минут — видно, желая меня
растрогать, — шумно вздохнул и снова ударился в воспо-
минания:

— Твоя бедная матушка тоже не отставала от своего хо-
зяина. Когда она работала воспитательницей в детском са-
ду, разучивала с малышами всякие песни, а потом они
выступали в колхозном клубе. Видел бы ты радость родите-
лей, чьи дети пели на сцене. Я и теперь как вспомню —
слышу тот звонкоголосый хор...

— Уже поздно. Ложитесь на мою кровать, я вас очень
прошу. Мне завтра в институте целых шесть часов слу-
шать лекции, — взмолился я. — Погасите свет.

— Когда же ты успеваешь читать столько книг, если
днем идешь в институт, а ночью спишь, как все?.. А Донди

мне вчера сказала: когда близятся экзамены, они спят всего два-три часа в сутки. Это же ад, на который вы, дурни, обрели себя добровольно... Ну, ты — ладно, ты мужчина, тебе нужна грамота. А она не дура ли? Променять спокойную жизнь, достаток на сумасшедший дом!

Когда я услышал имя Донди, надо мной будто кто-то взмахнул невидимой рукой, прогоняя сон. Я приподнялся и посмотрел на Торе — он сидел на кровати, стягивал сапоги. Потом он выключил свет. Я услышал, как пружины жалобно заскрипели под его грузным телом.

— Разве Донди здесь... в Ашхабаде? — спросил я, едва расслышав себя, и тут же испугался, что по дрожи в голосе Торе заметит мое волнение.

— А ты разве не знал?

— Впервые слышу... — насколько можно равнодушнее сказал я.

— Обманывать — недостойно мужчины, Дурды, — с нажимом продолжал Торе. — Донди мне во всем призналась. Зачем скрывать?... Она мне сказала, что часто видится с тобой... Что вы ходите вместе в кино и театры... Я хочу тебе сказать, Дурды, недостойно настоящего джигита свращать замужнюю женщину... У нее своя семья, свое счастье... И ты посягаешь на все это, на ее честь... Надо ли тебе напоминать, как обходились в недавние времена с теми, кто посягал на честь женщины...

Торе еще что-то говорил. Но я не слушал. Монотонный его голос слышался мне отдаленными, приглушенными расстоянием, раскатами грома, которые не сулят дождя. Я ломал себе голову, зачем Донди понадобилось говорить отцу неправду. Зачем очернять себя перед ним? И, чего доброго, перед всем аулом? Ведь я и вправду не знал, что Донди в Ашхабаде! И если бы даже знал, еще неизвестно, захотел бы видеть ее или нет...

— Она давно в Ашхабаде? — снова спросил я.

Торе молчал. Я откинул одеяло и сел.

— Донди давно в Ашхабаде? — переспросил я громко, разозленный тем, что Торе неожиданно уснул.

Стараясь успокоить себя, я думал: «Стоит ли жалеть о пироге, упавшем из рук в дорожную пыль?..»

Торе шумно посапывал, бормотал во сне что-то невнятное. Сгоряча я хотел разбудить его, расспросить о Донди, но передумал. Зачем этому человеку понадобилось напоминать мне давным-давно забытое? Разве не он сам, отец Донди, постарался, чтобы и я и она вырвали из своих сердец память друг о друге? Я сидел, прислонясь к остывшей печке, безучастно смотрел на квадрат окна, откуда сочился призрачный свет, наполняя комнату таинственными тенями, слушал, как в углу шуршит мышь, — и даже не заметил, как разболелась голова от мыслей, путаных, бессвязных, которым не было ни конца ни края.

БЕЛАЯ МГЛА

В тот год, помнится, зима выдалась злющей. Старики сказывали, что, почитай, лет двадцать не видали такой стужи и столько снега. И не то беда, что зима пришла суровая, а то, что рано подступила, нежданно-негаданно нагрянула. В эту пору каждый год чабаны еще только начинали заворачивать колхозные отары в аулы, где уготовлены для них были теплые кошары, и до первых заморозков успевали добраться до места. А тут с октября зарядили дожди. Раскисли дороги — и на арбе не проехать, не то что на машине. Две арбы так и застряли неподалеку от аула, увязнув по самые оси в глине. Возницы выпрягли лошадей, чтобы не мучить зря животных, и оставили свою двухколесную технику среди чистого поля с задранными к небу дышлами. Думали, когда перестанет дождь, вернутся с кетменями и лопатами и вызволят свои арбы из плена. Однако, прежде чем высохла после дождя земля, ударили морозы. И остались арбы стоять на

дороге, вмерзшие в землю, воздев руки-дышла к небу, будто молили о помощи. На деревянных спицах огромных колес наигрывал тоненько разбойник-ветер. По степи носились, вырывая траву с корнем, громадные белые метелки, извивались, мешались в бешеном хороводе — это ветер вздымал мелкий сухой снег, перемешанный с песком, и швырял на аул, припавший к ровной груди степи.

Как-то в степи чабанам, которых непогода застала на полпути к дому?

Наша мама не находила себе места, ежилась в страхе, слыша тягучее и злое завывание ветра в трубе. Шептала что-то побледневшими губами, словно молилась. Приговаривала:

— Горе мое!.. Знала бы сейчас, где отец ваш, побежала бы, отнесла ему тулуп, что-нибудь горячего поесть... В такую пору и волки стаяй могут напасть. Убереги его, господи...

Мы все трое — я, мой старший брат Байрам и сестренка Эджегыз — старались ее успокоить как могли. Каждый говорил свое: мол, отец, наверно, просто задержался в степной кошаре, пережидает непогоду; или, может, уже где-нибудь совсем близко, подходит с отарами к аулу. А на душе у самих тоже кошки скребли. Когда начинало смеркаться, мне становилось страшно.

Но прошел день, минул второй. Многие чабаны уже пригнали свои отары. А нашего отца все не было и не было... В кишлаке переполошились и родные подручных моего отца. То и дело прибегали к нам, спрашивали, нет ли вестей.

Мать повязала голову теплым платком, надела полушубок.

— Пойду к Торе-аге, пусть верховых пошлет в степь на розыски. Он заведующий фермой, кому еще заботиться о чабанах, как не ему.

Я напросился проводить маму до дома Торе-усача.

Белая мгла разлилась в степи. Солнце лохматым рыжим клубком висело в небе, едва просвечивая сквозь белый по-

лог тумана. Упругий ветер на разные голоса гудел в ветвях деревьев, покрытых ледяной коростой. Срывалась из-под ног поземка, снег больно хлестал по лицу. Снег вился, завихрялся над полем, вздымался до самого неба, белой пеленой закрывая солнце. «Ва... уу-у... ва-ва-ва...» — стонут телеграфные провода, будто кто-то водит по ним огромным смычком. Мать быстро хватает меня за руку, притягивает к себе.

— Снова волки объявились, — говорит она. — Давно их не видели в наших краях. Там, слышно, овцу ночью задрали, а там на человека напали...

— Жаль, я палку не прихватил, — сказал я, тревожно озираясь по сторонам.

— Днем-то они в кишлак не заходят, — успокоила меня мать.

Я не вошел в дом заведующего фермой, остался ждать маму у ворот. На то у меня были свои причины. Этим летом мы с мальчишками забрались как-то в колхозный сад. Только я пристроился на дереве и стал собирать за пазуху яблоки, кто-то крикнул: «Торе-ага идет!» Товарищи, словно переспелые плоды, посыпались с дерева. А мои штаны, как назло, заценились за сук, и спрыгнул я прямо в руки к Торе. Он мне тогда больно надрал уши и отобрал яблоки. Держась за горящие уши, я отбежал подальше и крикнул ему: «Торе-усач!..» А когда он обернулся, надул щеки и выпучил глаза — состроил ему рожицу. Заведующий фермой погнался за мной, смешно подпрыгивая и поддерживая руками толстое брюхо. Но где ему было за мной угнаться!.. Мальчишки смотрели на нас и покатывались со смеху. «Торе-усач! Торе-усач!..» С тех пор и приклеилась к нему эта кличка.

Прошло уже несколько месяцев, но я все же старался не попадаться на глаза Торе-усачу. И раньше-то он вызывал во мне неприязнь, а теперь и подавно.

Вот и остался я, к удивлению матери, стоять на пронизывающем ветру, постукивая ногой о ногу и потирая ладони.

Вскоре мать вышла из дома заведующего, и мы направи-

лись домой. Торе-усач ей сказал, что поисковая группа давно уже отправлена в степь. Мы немного успокоились.

Отец пришел поздним вечером следующего дня.

Мы только уселись было ужинать. Мать развернула на кошме, на полу, скатерку, поставила три касы с горячей жирной шурпой. Разломил на несколько частей чурек. Подала каждому деревянную ложку. Все это она делала молча, и по ее отсутствующему виду нетрудно было заметить, что мысли ее блуждают где-то далеко в степи, над которой куролесит метель, сбивает с дороги отары... Старшего брата Байрама сегодня тоже не было дома. Он еще утром отправился в центральную усадьбу колхоза и все еще не вернулся. Мы все ждали его, думая, что Байрам привезет вести об оставшихся в степи отарах и чабанах. Не дождавшись, сели ужинать. А за аулом, словно голодный волк, завывал ветер. Буран, который уже день сек все живое на земле, бросал в окно снег, перемешанный с песком, принесенным, должно быть, из самих Каракумов. Белая мгла затянула небо.

И едва мы потянулись ложками к шурпе, медленно и бесшумно отворилась дверь. От двери понесло холодом, и мы все разом обернулись. В черном проеме, устало притулившись к косяку, стоял наш отец. Мы его даже не сразу узнали: он походил на странствующего дервиша. Я сорвался с места и бросился к отцу, повис у него на шее, сестренка Эджегыз тоже... Мать поднялась, заулыбалась смущенно и радостно, растерянно вытирая руки о фартук. Отец плотно притворил за собой дверь, обнял всех по очереди. Я почувствовал, что он очень горячий. И дышит как-то часто и с хрипом.

— Боже мой, какой ты стал... — сказала мать, качая головой и скорбно приложив ладонь к щеке.

Я только теперь увидел, что на отце от коричневого суконного чекменя, в котором он обычно ходил, остались лишь лохмотья, жесткие с мороза, словно жесть. Глаза ввалились. Бледные худые щеки обросли густой бородой. Он улыбнулся и потрепал меня и Эджегыз по голове. Затем достал из

кармана гостинцы: пригоршню курта — сушеных шариков из соленого овечьего творога. Он знал, что мы с Эджегыз любим их больше, чем конфеты.

Мать помогла отцу раздеться. Принесла таз и полила ему на руки. От ужина отец отказался, попросил скорее приготовить постель и, присев на кошму, стал стягивать развалившиеся кирзовые сапоги.

— Три ночи не ложился, — сказал он хриплым голосом и гулко закашлял. Потом как-то виновато взглянул на мать. — Хоть часок сосну... А там разбудишь. Встану, поем, поговорим. Соскучился по вас...

Я тут же заявил, что лягу с отцом. Отец согласился. Когда он ночевал дома, мы всегда спали вместе: укрывались одним одеялом, под голову клали одну длинную подушку.

Зимой темнеет рано. А лампу мы зажигали не всегда. Экономили керосин, за ним приходилось добираться в самый райцентр. Поэтому я чаще всего залезал в постель раньше, чем куры усядутся на насест. И пока не приходил с работы отец, был единственным владельцем огромного одеяла и длинной подушки. Как бы поздно ни вернулся отец, я всегда просыпался, когда он отворял дверь, ждал его и во сне. С трудом приоткрывал глаза и сонным голосом спрашивал: «Папа, это ты?» Отец гладил меня по голове шершавой рукой и высыпал мне прямо на подушку горсть курта. Я часто так и засыпал с солоновато-кислым куртом за щекой. Мать разогревала отцу ужин. Поев, он укладывался рядом со мной. Я обязательно просовывал свою руку ему под шею. И не существовало для меня на свете никаких других благ, если я слышал рядом с собой тихое и ровное дыхание отца.

Отец в год всего несколько недолгих зимних месяцев жил дома. А все остальное время проводил на джайляу. Потому-то мы все и успевали так сильно по нему соскучиться... Наша мать не могла отправляться в кочевье с отцом из-за нас: мы с Эджегыз учились в школе. Я в седьмом классе, сестренка — в пятом.

И вот отец вернулся, чтобы до самой весны пробыть с нами дома.

Мать вынула из ниши постель.

— Где ж ты задержался так долго?.. Мы тут не знали что и думать... Какие только мысли в голову не забредут... Все ли у тебя благополучно? — приговаривала она, раскладывая на кошке возле стены одеяла.

— Эх, и не спрашивай! Отдохну, потом расскажу обо всем...

Мать стянула с отца рубашку, потерявшую цвет от пыли и пота.

— Какой ты горячий. Уж не заболел ли?

— От усталости все тело ломит. Ничего, пройдет. Посплю немного, и пройдет...

— Перекусил бы...

— Не хочется что-то...

Я уже залез в постель и поджидал отца. Едва он лег, мама взяла лампу, и они с Эджегыз пошли в другую комнату, на свою половину. Я, как бывало прежде, просунул руку под голову отца. Он уже спал. Мне показалось, что он весь в поту и дрожит. Дышал отец часто, слегка приоткрыв рот. Мне хотелось коснуться его спутанной бороды, волос, прилипших ко лбу, потрескавшихся губ, но я боялся пошевелиться, чтобы не разбудить его. Закрыв глаза, стараясь уснуть. Тут-то громко постучали в нашу дверь. Никто не успел ответить, как дверь шумно отворилась и кто-то вошел в комнату, сопровождаемый клубами морозного пара. Я подумал, что это возвратился Байрам, и хотел шикнуть на него, чтобы он вел себя потише. Но человек, похлопав себя по плечам, стряхнул с мехового воротника снег, заговорил зычным басом:

— Ба! Да вы все уже возлегли на свои ложа! А я пришел на плов по случаю благополучного возвращения моего дорогого друга Курбана!

Я сразу же по голосу узнал заведующего фермой Тореусача.

Мама еще не успела лечь. Она вышла из своей комнаты и снова засветила лампу, поставила ее в нишу.

Отец приподнялся на локте и, щурясь от света, сказал, неприветливо усмехаясь:

— Входи, входи, начальник. Присаживайся. Как раз был к тебе разговор.

— На плов завтра приходите, — сказала мать. — А сегодня угощу вас чем бог послал.

— Ну давай, сестрица, я человек непривередливый, согласен, — сказал Торе-усач, посмеиваясь и снимая шубу.

Мать взяла у него шубу, повесила на гвоздь. Торе поздоровался с отцом за руку, присел рядом с ним на матрац, потирая замерзшие руки, словно мыл их под струей воды. Я натянул на голову одеяло, чтобы он меня не увидел. Не то вспомнит и расскажет отцу, что это я нарек его «Усачом». Он питал с тех пор ко мне особенную злобу: ведь прозвище пристало к нему, как репей, не мог он никак от него избавиться.

— Отдохнул немного — аппетит вроде бы появился, чабану и пяти минут хватает, чтоб собраться с силами, — сказал отец, услышав запах гревшейся шурпы. Надел сухую одежду, сел, скрестив ноги, вполоборота к гостю, смотрел на куски чурека, разложенные на дастархане, и думал о чем-то. Торе поставил на дастархан бутылку «Столичной», она сразу же затуманилась, запотела.

— Ну докладывай, друг, как добирался.

Отец нахмурился, мельком глянул на заведующего.

— Когда в твоём доме гость и сидишь с ним за дастарханом, на котором лежит святой хлеб, обычай наш не велит говорить гостю неприятных слов, — сказал он, притронувшись к куску чурека. — А мой разговор к тебе будет горьким, начальник. Лучше отложим его до завтра. В конторе в присутствии председателя, нашего парторга и поговорим... Там я тебе скажу, начальник, чего сейчас не могу сказать.

С лица Торе-усача исчезла улыбка, Усы встопорщились,

широкие брови изогнулись, как пиявки. Он стал похож на каменного Будду, которого я много раз видел на картинках. Но через какую-нибудь секунду глаза его снова заблестели, и углы рта поползли к ушам.

— Послушай, друг Курбан, стоит ли нам ссориться из-за пустяков? — сказал он тихим, вкрадчивым голосом.

— Из-за пустяков?.. Больше трехсот павших и утеранных овец! Колхозных! Это, по-твоему, пустяки?..

Мать, возившаяся у плиты, обернулась и испуганно посмотрела на отца. Я увидел, как она побледнела, и догадался, что произошло что-то ужасное. Наверно, отцу из-за этих проклятых овец теперь грозит опасность.

— Не горячись, дружище, не паникуй заранее. Давай выпьем, погрейся. А там и поговорим. Давай вместе помозгуем, как нам поступить, — ворковал заведующий и, не дожидаясь, пока подадут шурпу, разлил водку в пиалы.

— Если бы ты послушался чабанов и соорудил по пути с пастбищ две-три кошары, сложил бы там немного кормов про запас, не было бы сейчас этих потерь. Сберегли бы всех овец до единой. Слово чабана...

— Ха! Не собираешься ли ты всю вину на меня свалить, дружище? — спросил Торе-усач с ухмылкой, и его глаза недобро сверкнули.

Мать поставила на дастархан две касы с шурпой. Торе-усач протянул было пиалу, чтобы чокнуться, но отец уже выпил. Жадно хлебнул шурпы и стал рассказывать, резко бросая слова:

— Земля покрылась ледяной коркой. Овцы в кровь сбивают копытца, чтобы достать траву. Кожа на ногах задирается... Пришлось резать... А потом и резать перестали. Оставляли. Под снегом! Волкам оставляли, а те следом шли! Овцы блеяли, вслед нам смотрели, а подняться сил не было... А мы спешили, чтобы спасти хотя бы тех, что еще передвигались. Сами шли пешком, на лошадях везли шкуры прирезанных овец.

— Да-а, — вздохнул Торе. — Разве можно предугадать испытания, какие посылает нам бог? Благодарение всевышнему, что все же добрались до дому!.. Я куда только не звонил. Весь район на ноги поднял. Просил вертолеты послать. Да, видишь ли, они, оказывается, не летают в такую погоду. Тьфу на вашу технику! В хорошую погоду мне разве ваши железные стрекозы нужны?!

— Овцы с голоду рвали друг на дружке шерсть... — продолжал отец задумчиво, словно и не слышал заведующего. — Окружат плотным кольцом и смотрят тебе прямо в глаза... Спросить хотят, а не могут... долго ли еще...

— Ну, давай выпьем.

Звякнули пиалами. Выпили.

— И во всем этом виноват ты, начальник, — сказал отец, бросив пиалу на скатерть. — Будь ты порасторопней...

Торе-усач сморщился — не то от выпитого, не то от услышанного.

— Ты и вправду винишь меня? — спросил он, настороженно сузив зеленые глаза.

— Ты, друг мой любезный, ты во всем виноват!

Торе-усач просунул за ворот палец и повел толстой, налитой кровью шеей, словно рубашка душила.

— Я говорил тебе только про овец... А нам, чабанам, как-то пришлось? Аллах только знает, сколько, придя домой, слягут в постель. Ты не дал нам ни теплой одежды, ни плащей, ни палаток, ни продуктов. Питались овечьим молоком. И только. А наступили холода, и того не стало! Перешли на мясо. Без крошки хлеба. Как дикари!.. Да где мы находимся — в своей стране или нет?.. Хочешь — обижайся, а не доложу я об этом кому следует, мои же чабаны меня презирать станут.

— Да кто же мог предвидеть, что зима в этом году нагрянет так рано? Собирался я вам отправить все, что надо, да не успел... — уже сквозь зыбкий сон слышал я голос заведующего фермой, Торе-усача.

На меня наплывало смутное видение унылой, заледенелой степи, исхлестанной ветрами, и медленно бредущих по ней отар, подгоняемых простуженными голосами чабанов. Овцы поскользываются, падают, разбивая ноги о лед. Заиндевевшие спины их белы, словно присыпаны мукой. На впалях боках шерсть смерзлась в сосульки. Овцы охрипли от блеяния, прячут на ходу головы друг под друга, стараясь хоть как-то укрыться от пронизывающего, сшибающего с ног ветра, который в степи волен и не терпит преград...

Я проснулся среди ночи. Отец и Торе-усач все еще говорили, тихо, почти шепотом, и как-то отрывисто, сквозь зубы, будто ссорились. Касы перед ними стояли пустые, на их краях застыл красный от томата жир. Бутылка валялась на дастархане.

— Друг я тебе или нет? — спрашивал Торе-усач, подавшись всем корпусом к отцу. — Скажи — друг? Что молчишь?.. Тебе, непутевому, добра хочу. Дело предлагаю...

Отец сидел, опустив на грудь заросшую голову, и исподлобья глядел на тускло поблескивающую бутылку.

— Н-нет, н-не выйдет, — сказал он, помотав головой, и в упор посмотрел на заведующего. — Лучше под суд, чем на такое дело...

— Тьфу! — плюнул Торе-усач в сторону порога. — А ты знаешь, чем тебе это грозит?..

— Ответ держать оба будем.

— Я свою вину не отрицаю. Но у меня ее гораздо меньше, чем у тебя. Я выкручусь. А тебе и штанов не хватит расплатиться с колхозом... По-дружески предлагаю: составим акт не на триста утеранных голов, а на пятьсот, на шестьсот. Я это устрою. Кто не поверит, пусть отправляется в степь да пересчитывает, хе-хе, оставшихся там овец. Твоим помощникам тоже дадим понемногу в зубы, чтобы рот замазать. Будут помалкивать. А тебе вырученных денег хватит откупиться от суда, да и самому еще останется.

— Ты меня судом не пугай. Не из пугливых я. И не из

таких, кто на горе людском добро наживает! — повысил голос отец. — Обо всех по себе не суди, начальничек! Не быть мне Курбаном, если ты останешься в заведующих. Не на своем месте ты сидишь, Торе, в лицо говорю — не осуждай...

Помолчали. Потом Торе-усач нехорошо усмехнулся, сузившимися глазами глянул на отца.

— Послушай, чабан, — прошипел он. — Ведь тебе еще придется доказать, что те триста голов у вас околели. Может, они у вас вовсе и не пропали, а? Может, они у вас обернулись вот в это, а? — Торе-усач поднес к самому лицу моего отца руку и многозначительно потер друг о друга большой и указательный пальцы. — Ведь иногда случаются такие превращения... Хе-хе-хе! Случаются, чего греха таить...

Мой отец покачнулся, как от удара, побледнел. Глаза загорелись недобрым холодным огнем. Секунду с презрением рассматривал своего гостя, будто видел его впервые. Потом произнес тихо, сдавленно, и было видно, как трудно ему выговаривать эти слова:

— Вон из моего дома, подлец! Вон!.. — И, закашлявшись, схватился одной рукой за грудь, другой указал на дверь.

Я никогда не думал, что отец может выгнать из дома гостя. От неожиданности я даже позабыл о Торе-усаче, сел в постели и начал протирать глаза.

Торе увидел меня, осекся. Ни слова не говоря, встал и пружинистой походкой направился к двери. У порога, снимая с гвоздя шубу, обернулся:

— Пожалеешь! Ох, как пожалеешь!.. — И, выйдя, с силой захлопнул дверь.

Посидев немного, отец погасил лампу и лег не раздеваясь. Видимо, продрог. Долго ворочался с боку на бок. Ворчал:

— Ишь, выручать решил, «руку протянуть утопающему»... Думает, все такие, как сам. Начхать на таких начальников, как ты! Ишь, пройдоха! Давно тебя гнать пора, мироеда... Своим братом решил постращать, районным прокурором; мол, я буду один за все ответ держать, а он сухоньким из воды

выйдет. Все равно солнца ладонью не прикроешь. Правда — она как солнце, любую мглу пробьет.

В трубе по-волчьи подвывал ветер. В курятнике прокричал петух. Наш, узнал его я. Значит, скоро начнет светать...

То утро мне запомнилось на всю жизнь. Я проснулся от грохота. Спросонок показалось, что потолок обвалился, и я страшно перепугался. В маленький проем нашего окна, разделенного рамой на четыре части, еще смотрела густая синева уходящей ночи. Я подумал, что мне, может, приснился дурной сон. Но отец тоже проснулся. Приподнялся на локте и недоуменно посмотрел на дверь, за которой слышались хруст снега под чьими-то ногами и голоса. У меня тревожно заколотилось сердце в предчувствии недоброго. Вдруг дверь затряслась, будто в нее били снаружи ногами.

Из комнаты, набросив на плечи шаль, вышла перепуганная мать, направилась было к двери. Отец остановил ее:

— погоди. Ступай к себе. Сам открою.

Он провел рукой по моей голове, как бы говоря: «Не бойся, сынок», — и быстро встал с места. В этот момент дверь снова кто-то дернул, словно хотел сорвать с петель. Послышались ругательства. Мать, запахнув халат, все еще стояла в углу и тряслась от страха. Только сейчас до меня полностью досел смысл поговорки, которую я часто слышал от нее: «Пусть к спящим не придет бодрствующий». Из приоткрытой двери женской половины глядела, испуганно моргая заспанными глазами, моя сестренка.

— Идите в свою комнату, кому я сказал! — проговорил отец, взглянув на них.

И когда мать плотно притворила за собою дверь, отодвинул щеколду.

В комнату вошли трое. Они не потрудились даже прикрыть за собою дверь. За ними ворвалась струя морозного воздуха и быстро заполнила комнату. Я сжался под одеялом, готовый в любую секунду броситься на помощь отцу. Я подумал: «Жаль, нету Байрама. Тогда нас тоже было бы трое...»

Вошедшие были пьяные.

Высокого и сухощавого, того, что в серой шинели, звали Сафархан. Я знал его. Его родители жили в нашем ауле. А сам он редко появлялся в этих местах. Под искривленным, приплюснутым носом — тонкая ниточка усов. Говорят, ему еще в детстве перешибли нос. Наверно, было за что. И сейчас никто не ведает, где он работает и чем живет. Люди поговаривали, что он какой-то экспедитор в районе. А мой отец однажды выступил на общем колхозном собрании и сказал, что никакой он не экспедитор, а ездит в Ленинград, Минск, Ригу и продает каракуль из-под полы. Отец говорил, что пора пресечь делишки всяких тунеядцев, что коллектив обязан отвечать за каждого своего члена. Но он тогда не сказал, кто поставляет Сафархану товар. А надо бы... С того времени Сафархан и держал злобу на отца. Вон каким волком смотрит. А глаза у самого красные и заплыли.

Второго, широкоскулого крепыша, я тоже знал. Это двоюродный брат Торе-усача. Он жил в другом селении, километрах в двадцати отсюда. Толстая, как у быка, шея с выступающими над узким воротником складками. Выпуклый квадратный затылок.

А третьего я не знал. Но все же сразу было видно, что этот человек выполнит любое поручение того, кто ему нальет стакан водки. Едва ввалившись в дверь, он сразу же направил на моего отца охотничью двустволку. Его ружье совсем не походило на мое игрушечное, которое вот уже много лет висело на стене. Наверно, стоит нажать на эти курки, и тогда не придется кричать: «Эй, падай, ты убит!» Я испуганно глядел то на одного, то на другого и лихорадочно думал, куда же спрятать отца. Я вскочил и прижался к отцу, обхватив его руками.

Из своей комнаты, услышав пререкания отца с чужими людьми, вышла мама. Следом за ней, держась за полу ее юбки, робко ступала Эджегыз. В комнату уже начал просачиваться серовато-синий рассвет. Но мама все же хотела за-

светить лампу. Ее руки дрожали, и она сломала несколько спичек, пока добыла язычок пламени и посадила его под стекло.

— Одевайся! Некогда нам с тобой цацкаться! — сказал Сафархан отцу. — Там разберутся, прав ты или виноват. Нам велено доставить тебя в район к самому прокурору. — И, сорвав с вешалки, бросил отцу шубу.

— Что все это значит? — спросила мать дрожащим голосом, становясь рядом с отцом.

— Твой муж продал три сотни колхозных овец! — сказал обладатель ружья. — Мы отведем его в милицию, пока не улизнул и не замел следы.

— Не может быть, — еле слышно проговорила мать.

— Может или не может, прокурор разберется! — с ухмылкой сказал Сафархан.

— Брехня. Козни Торе. За свою шкуру боится. А этим, его холуям, достанется за самоуправство, — сказал отец, стараясь успокоить нас.

Мама засуетилась. Она подала отцу теплую одежду. Завернула в платок лепешку на дорогу. Отец оделся, сунул лепешку за пазуху и направился к двери.

— Идемте, — сказал он этим троим.

Я бросился к отцу. Эджегыз тоже. Мы повисли на нем, как плоды на стволе дерева. Отец поцеловал нас и сказал:

— Слушайте маму. Я скоро приеду, привезу вам гостей.

И мы отпустили отца...

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!

Нашей маме еще не исполнилось и сорока лет. И на лице ни морщинки. Держалась она всегда прямо. Работа в ее руках спорилась — с любым делом справлялась быстро, ловко, соседям на удивление. В ауле ее многие считали красавицей, и правильно! Свои косы, черные, искрящиеся, как звездная

ночь, мама заплетала короной вокруг головы. Ее щеки всегда были розовые и нежные, как кожица пригретого солнцем персика. Когда она смотрела на меня, маленького, в ее жгуче-черных глазах я всегда видел ласку. А когда она обнимала меня, я любил гладить широкие скобочки ее бархатных бровей.

Ни разу не бывало, чтобы на кого-нибудь из нас, детей, мама прикрикнула. Только если мы видели, что мама невесела и с кем-то из нас перестала разговаривать, мы понимали, что провинились. Тогда мы всеми силами старались задобрить ее. Мама замечала это, и ей становилось смешно. Она давала нам разные сладости, и в разговоре ее снова появлялись слова «ягненочек мой», «свет моих глаз», «да буду я жертвой за тебя»... И когда мы иногда баловались и не слушались ее, она опять укоряла нас с помощью этих же ласковых слов.

К чужим детям, впрочем, мама относилась ничуть не хуже, чем к нам. А их, чужих, у нее было куда больше. Ведь она работала воспитательницей в детском саду. Каждая мать, оставляя под ее присмотром своего ребенка, просила нашу маму получше глядеть за ее малышом. И она каждой обещала, что будет стараться. Но не думайте, что, пообещав, она тут же забывала об этом. Наша мама и в самом деле старалась угодить всем. И ребятишки всегда были довольны. Такой уж был у нее счастливый характер. За это все в нашем ауле любили ее и считали лучшей воспитательницей в детском саду.

По утрам мама всегда вставала рано, когда мы все еще спали. Готовила нам завтрак и уходила на работу. Мы проснемся, а в нише в нашей комнате уже стоит чайник, укутанный в скатерку, и в глиняном кувшине холодные как лед сливки. Слоеные лепешки мама заворачивала в дастархан, чтобы не черствели. Будто волшебница все это приготовила, а сама скрылась. Мы завтракали. Затем Байрам уходил на работу. Мы с Эджегыз отправлялись в школу.

Наша школа была рядом с детским садом. Мы с Эджегыз

даже успевали иногда на переменах забежать к маме. Правда, у нее и без нас хватало хлопот. Во дворе в тени деревьев резвились малыши. Если кто-нибудь плакал, мама успокаивала его, давала игрушку. Другой просил пить, и она поила его чаем. Третьему читала книжку. Со старшими разучивала песни. Я удивлялся, как она все это успевает.

Когда отец и те трое ушли из дому, наша мать казалась спокойной. Она велела нам не плакать, а идти спать. «Как только Байрам придет домой, я пошлю его в правление, — сказала она, — он расскажет председателю и парторгу о том, что случилось. Они вернут вашего отца, не бойтесь. Он ведь ни в чем не виноват...»

А когда я снова проснулся, уже утром, и выбрался из постели, я не узнал маму. Она неподвижно сидела за столом, где мы с Эджегыз обычно делали уроки, и, подперев рукой щеку, невидяще глядела в стену. Уже было светло, а возле нее чадила лампа, мама забыла ее погасить. Мамино лицо осунулось, под глазами легли сизые тени. Около уголков ее рта я впервые заметил морщинки.

— Мама, ты не ложились? — спросил я.

Она вздрогнула. Отчужденно посмотрела на меня, потом, как бы сообразив, что это я с ней говорю, улыбнулась:

— Ты уже встал, сынок? Поскорее умойся. Пора собираться в школу. Разбуди Эджегыз.

И принялась готовить для нас завтрак.

— А ты не пошла сегодня на работу? Ты здорова? — спросил я.

— Здорова, сынок, здорова. По пути забежите в детский сад, скажите заведующей, что я поехала в райцентр. Вот дождусь только Байрама. На первый автобус не опоздать бы...

Мы с Эджегыз пошли в школу. Уж лучше бы я не ходил... Сидел как на иголках. Учительница по немецкому языку мне несколько раз сделала замечание.

— Курбанов, не смотри в окно и не считай ворон, — наконец сказала она строго.

А сидящий со мной на одной парте Айдогды поправил ее:

— Учительница, там не вороны, там воробьи дерутся на дереве.

В классе засмеялись. А учительница покраснела. Она была совсем молоденькая, первый год работала в школе, и часто краснела. Всю свою жизнь провела в городе и потому часто путала названия трав, деревьев, животных, птиц. И когда ребята ее поправляли, она говорила: «Спасибо». Поэтому Айдогды и сейчас решил, что она ошиблась и спутала ворон с воробьями.

Но меня ни капельки не развеселил этот Айдогды. Я сделал вид, что внимательно слушаю урок, а сам думал, рассказать о происшествии с отцом нашему классному руководителю, учителю Чары, или пока не стоит. Учителя Чары мы все очень любили. Он всегда мог дать дельный совет и помочь.

На перемене я заглянул в учительскую. Но там учителя Чары не оказалось. Сказали, что он уехал по каким-то делам в облоно.

Сегодня суббота. У нас было всего четыре урока.

Вернувшись из школы, мы с Эджегыз нашли на столе записку: «Разогрейте на обед лапшу. Заправьте простоквашей с натертым чесноком. Байрам поехал в правление. Я, наверное, вернусь вечером. М а м а».

Между райцентром и нашим аулом курсировал маленький автобус, прозванный «крытой арбой». В нем подбрасывало пассажиров, кидало из стороны в сторону куда хуже, чем на арбе. Я бы сравнил наш автобус с детской погремушкой, а пассажиров — с зернами, вложенными в нее. Правда, не машина была тому виной, а дорога. Но окрестили уничижающим именем беднягу машину. Автобус ходил к нам всего три раза в день: утром, в полдень и вечером. Мама, наверное, рассчитывала вернуться последним рейсом.

Вечером приехал Байрам. Он отвел лошадь в сарай, дал ей сушеного клевера. Входя в дом, спросил с порога:

— Мамы еще нет?

Вид у Байрама был усталый. Пока он раздевался, Эджегыз приготовила ему теплой воды умыться. Она у нас расторопная — в мать. Байрам был голоден. Но мы все не садились ужинать. Ждали маму. Лампу не зажигали: выгорел весь керосин. Мама захватила с собой бидон, — наверное, привезет.

— Рассказал председателю? — спросил я.

Байрам кивнул.

— И что он?

— Позвонил в милицию. А заведующему фермой велел явиться к нему...

— А что в милиции сказали?

— Арестовали не отца, а тех троих. По пятнадцать суток влепят.

— А отец где же?..

Байрам вздохнул.

— В больнице. Оказывается, он уже был болен. А с этими мерзавцами по дороге, наверное, простыл еще больше. Лучше бы их не арестовали! Я бы так прошелся по их спинам лопатой! — Байрам резко встал и взад-вперед заходил по комнате. — Ну ничего, время есть, мы с них еще возьмем свое!..

— А что с отцом? В больницу не звонил?

— Звонил. Воспаление легких.

Комната постепенно наполнилась густым мраком. Окно вырисовывалось смутным бледным пятном. Мы разговаривали и не видели друг-друга. Только слышали голос, дыхание.

— Где же наша мама? — спросила жалобным голоском Эджегыз и захныкала.

Байрам поднес к глазам светящийся циферблат часов.

— Последний автобус уже был полчаса назад. Значит, сегодня мама не приедет. Наверное, худо отцу. Ну-ка, Дурды, сходи к соседям за керосином. Не будем же мы без огня ночь коротать.

Я надел пальто, взял бутылку и вышел. Мой друг Айдог-

ды жил через два дома. Я пошел к ним. А если что-нибудь понадобится им — лук, соль, спички или другое, Айдогды всегда прибегает к нам.

В воскресенье я целый день просидел дома. Ко мне два раза заходил Айдогды, звал на канал кататься на коньках. Мы всякий свободный час бегали туда. Высокие берега канала задерживают ветер. Пусть он сколько хочет злится вверху, гнет, ломает вербу и джиду, что густо растут вдоль берега, а внизу, в самом русле канала, спокойно и тихо. Наши самодельные деревянные коньки скользят по шершавому льду ничуть не хуже фабричных. Можно кататься далеко-далеко, как по широкой прямой улице.

Но в этот раз я не пошел с Айдогды на канал. Не хотелось. Какое-то дурное предчувствие закралось в сердце с приближением вечера. Я весь день прождал мать. Сидел у окошка и все смотрел на калитку. Иногда ветер приоткрывал ее и с силой захлопывал. Мы вздрагивали, думая, что это пришла мама. Когда начали сгущаться сумерки, мы встревожились еще больше. Эджегыз стала потихоньку плакать. Ни я, ни Байрам не пытались ее успокоить: она девчонка, пусть себе плачет. Говорят, им от слез становится легче.

Наконец Байрам решительно встал и сказал нам:

— Вы садитесь ужинать. Я выйду к автобусу. Если мать не приедет, этим же рейсом уеду в райцентр. Повидаю отца, найду мать. Там и переночую у знакомых.

Мы с Эджегыз согласились. Байрам отрезал себе два куска чурека, положил между ними ломоть брынзы и, завернув все в бумагу, сунул в карман.

— Если утром задержусь, сами позавтракайте и обязательно идите в школу, — сказал он.

И ушел.

На следующий день, поздно вечером, когда мы уже потеряли надежду дожидаться кого-нибудь, пришла мама. Мы с ра-

достным криком бросились к ней, едва она ступила на порог. Она обняла нас, поцеловала. Потом устало опустилась на табуретку. Развязав платок, спустила его на плечи, расстегнула свое плюшевое пальто. При этом она как-то странно смотрела на нас. Ее бледные с мороза губы вздрагивали, будто она собиралась сказать нам что-то и все никак не могла решиться. Вдруг из глаз ее полились слезы, двумя тоненькими ниточками заскользили по щекам. Мы стояли рядом, ожидая, что она скажет. Мама обняла нас, прижала наши головы к своей груди и тихо, раскачиваясь из стороны в сторону, стала причитать:

— Что же нам теперь делать, деточки мои? Покинул нас отец, сиротинушки. Ушел кормилец наш родименький...

Мне на щеку капали горячие мамины слезы. Мы с Эджегыз поняли наконец, что произошло. И, присоединясь к матери, заплакали в голос.

Видимо, догадавшись, что в нашем доме не все благополучно, у нас стали собираться соседи. Я представил себе, как эти люди завтра привезут моего отца и после каких-то никому, мне казалось, не нужных церемоний закопают в землю. От этой мысли мне сделалось еще горше. Какая-то женщина успокаивала меня. Но я уже не мог унять слез и нисколько не чувствовал от этого облегчения, и, кажется, даже завидовал поэтому девочкам.

ДОНДИ

Аул наш точь-в-точь такой же, как и все остальные в округе: серые лачуги из глины, разбросанные в живописном беспорядке, но сами отнюдь не живописные. В центре аула — мечеть, превращенная в клуб. За последними домиками у канала — старая мельница, скрывающаяся сейчас от ветра за вербами, обросшими ледяной коростой. Еще дальше — степь, чешуя снежных барханов, и дорога, едва приметная среди

белой безмолвной пустыни. Она извивается, словно оброненная кем-то веревка, и, зазмеившись вверх, пропадает за Туя-тепе — холмом, обвитым сейчас понизу морозным туманом. Дальше холма Туя-тепе, похожего на лежащего двугорбого верблюда, я еще ни разу не бывал.

В школу я ходил чаще всего не прямо по улице, а отправив сестренку Эджегыз короткой дорогой, сам сворачивал к каналу и шел по тропинке, вытоптанной по насыпи над водой. Эджегыз понимающе кивала и, улыбнувшись, торопливо удалялась.

Окна дома, в котором жила Донди, смотрели на канал. Приближаясь к ним, я всякий раз невольно замедлял шаги. Досадовал на Донди, если она не выходила сразу же, заведя меня. Вот и теперь... Я уже и так несколько раз опаздывал из-за нее на урок. Отец, видно, заставил Донди что-то делать по дому и не пустил в школу. А я целый час простоял около шлюза, поджидая ее. Дул холодный, пронизывающий ветер, и я здорово продрог. Чтобы хоть немножко согреться, я стал подпрыгивать то на одной, то на другой ноге. Потом подумал, каким олухом я, должно быть, выгляжу со стороны, если кто-нибудь видит меня сейчас и догадывается, что я ожидаю Донди. Я несколько дней кряду не виделся с ней и нынче непременно хотел ее дождаться. Мне было очень тяжело одному носить свое горе. А Донди я мог без утайки рассказать все, что у меня на сердце. И, может, мне от этого полегчало бы. Но не дождался я в тот раз у шлюза Донди.

На второй день я снова ожидал ее на том же самом месте. Мимо меня прошли в школу ребята. Я сказал, что поджидая сестренку. Ребята, похихикивая, стали показывать пальцем на окна Донди. Я запустил в них снежком, они приняли вызов, и мы, наверно, целых полчаса осыпали друг друга рыхлыми комьями снега. Потом ребята припустились бегом, чтобы не опоздать на урок. А Донди все не шла и не шла...

Наконец она появилась. Выйдя из калитки, сразу закрыла ее, чтобы не выпустить собаку со двора. Шла быстрыми мел-

ними шажками, будто боялась поскользнуться. Приблизилась, опустив голову. На этот раз не было на ее лице той радостной улыбки, которую я видел всякий раз при нашей встрече. Я стоял на тропинке, загородив ей дорогу. Не дойдя до меня нескольких шагов, Донди остановилась и тихо сказала:

— Ты иди впереди. Я пойду следом.

— Почему? — спросил я. — Идем рядом. Мне надо поговорить с тобой. Я уже несколько дней не видел тебя и собираюсь рассказать...

— Я знаю, Дурды, у тебя большое горе. Я обо всем знаю. Но лучше потом... В другой раз...

— Донди...

— Ну иди, а то мы опоздаем в школу.

— Почему ты не подходишь, будто боишься меня?

— Пойдем порознь.

— Почему? — удивился я.

— «Почему, почему!..» Мне отец не велел с тобой разговаривать. Если увидит нас вместе, мне попадет... Ну иди, прошу тебя.

— Я знаю, твой отец не любит меня, хотя сам во всем виноват!

— Папа говорит, что к случаю с твоим отцом он непричастен. А твоя мать на колхозном собрании свалила всю вину на него! Наши аульчане теперь с ним не разговаривают, отворачиваются при встрече... Он говорит, что Курбан-ага был его самым близким другом, а твоя мать его оклеветала...

— Донди, он виноват!..

— Кто тебе сказал об этом? — спросила Донди, устремив на меня пронзительный взгляд зеленоватых, как у отца, глаз. — Мать сказала?

— Да!

— Вот видишь, ты же ей веришь. А почему я не должна верить своему отцу?

Да, у Донди, как всегда, железная логика. Я не сразу нашелся, что ответить.

— Я сам все знаю! — сказал я.

— Моего отца из-за вашей клеветы сняли с должности. Перевели в простые конюхи, — продолжала Донди, глядя на меня в упор. — Наверно, теперь вы все очень довольны? Хотя виноваты те трое бандюг, а не мой отец.

— И ты теперь никогда не будешь со мной разговаривать? — спросил я о том, что в данную минуту волновало меня больше всего.

— Отец обещал выдрать мне косы и отрезать язык, если общаюсь с тобой хоть словечком.

Мне совсем не хотелось, чтобы Донди осталась без кос и без языка. А Торе-усач не бросал своих слов на ветер. Я круто повернулся и побежал. Оступился, чуть не свалился в канал, скованный голубоватым льдом, услышал, как вскрикнула испуганно Донди, но не обернулся. Снег, точно крупа, с шорохом посыпался на лед. Я подобрал выпавшую тетрадь и, на ходу запикивая ее в портфель, припустил во весь дух. У меня пощипывало в глазах от слез, и я боялся, что Донди увидит...

Мы с Донди не разговаривали целую неделю. Я иногда видел ее на переменах, но делал вид, что не замечаю, и сам старался не попадаться ей на глаза. Это не так уж трудно было сделать: я учился в седьмом классе, а Донди — в пятом, в одном классе с Эджегыз. Они с моей сестренкой раньше дружили и даже сидели за одной партой. А теперь, после смерти нашего отца, Эджегыз поссорилась с Донди и пересела на другую парту.

Я стал ходить в школу вместе с Эджегыз прямой улицей, разделяющей наш аул на две половины; идти тут было ближе и веселее — всегда встречалось много ребят, мы гонялись друг за другом, играли в снежки. А Донди по-прежнему сновала той же самой тропкой по насыпи вдоль канала — из дома в школу, из школы домой, — как челнок в ткацкой машине. Мне даже стало казаться, что эту тропку она одна только и вытаптывала за зиму.

Однажды, возвращаясь из школы, я увидел Донди. Она

стояла у обочины и ковыряла носком сапожка снег. Я хотел пройти мимо. Но Донди мгновенно взглянула на меня и тут же опустила голову. Я все же успел заметить, что ее глаза, как два прозрачных глубоких озерца, наполнены слезами. Я прошел мимо. И невольно пошел медленнее. Хотелось спросить у нее, что случилось. Не выдержал и обернулся.

— Я тебя ждала, Дурды, — сказала Донди.

— А зачем? — осведомился я.

— Тахир из нашего класса говорит, будто мой отец хапуга и вор, а я дочка мошенника... — пролепетала она и всхлипнула. — И другие дразнят меня...

— Твой одноклассник не так уж далек от истины, — проговорил я насмешливо.

— Но почему все стараются уколоть меня? Разве я виновата? — в отчаянии закричала Донди. — Если вы все такие смелые, скажите ему самому! В лицо! А почему отец того же Тахира, наш бригадир, не придет к нам и не скажет моему отцу, чтобы он шел на работу? Почему?.. Я, что ли, должна убеждать его, что любой труд у нас в почете, что конюхом тоже кто-то должен работать? А я ему говорила об этом, если хочешь знать! Он огрел меня по спине вожкой...

«И верно, — подумал я, — при чем тут Донди? За что этот задира Тахир обидел ее?»

— Ладно, — сказал я. — Ступай. Я поговорю с Тахиром.

И ускорил шаги, чтобы догнать гурьбу ребят, среди которых, о чем-то бойко разглагольствуя и толкая то одного, то другого, вышагивал Тахир. Я схватил его сзади за воротник и, дав подножку, пихнул головой в снег.

— Чего тебе надо? — запищал он плаксиво, отряхивая шапку.

— Сам знаешь! — сказал я. — Еще раз обидишь эту девчонку, не так получишь!..

И пошел своей дорогой, оставив в недоумении ребят.

На следующий день Донди в школу не пришла. Я это за-

метил на первой же переменке. Мы играли во дворе в снежки. Я незаметно поглядывал по сторонам, надеясь увидеть девочку в зеленом пальто и красном цветастом платке. Мимо меня пробежала Эджегыз, я поймал ее за руку и спросил:

— Сестренка, сегодня Донди не появлялась?

— А я почему знаю! — сказала Эджегыз и недовольно свернула губки бантиком.

Вот какая вредина моя сестрица, если не захочет что-нибудь сказать, ни за что не выведаешь. Пришлось несколько раз пройти мимо раскрытых дверей их класса, заглядывая внутрь. Донди не было. А мне очень хотелось сказать ей, что Тахир больше не станет обижать ее, хотя она и сама все вчера прекрасно видела.

Донди не пришла в школу и на второй день. Она часто пропускала занятия — учителя, кажется, уже перестали придавать этому значение. Завучу и директору надоело ругаться с Торе-усачом и внушать ему, что не положено отрывать девочку от учебы из-за домашней работы.

Донди не появилась в школе и на третий день. И на следующий. И еще через два дня.

Я забеспокоился. Возвращаясь из школы, я решил пройти по берегу канала, мимо дома Донди. У знакомых с детства зеленых ворот я остановился, раздумывая, что предпринять. Ворота как ворота. Вроде бы ничего особенного. Да в них так запросто не войдешь, не скажешь: «Здравствуйте, хлеб-соль вашему дому...» Уже давно, как только я оказывался на этом месте, мне чудилось, будто стою перед вратами замка какого-нибудь злого правителя. И всякий раз я не мог избавиться от странного ощущения, что эти огромные двустворчатые ворота с узкой калиткой на одной половине имеют глаза и уши, чтобы подглядывать за прохожими и подслушивать, о чем они говорят. И вот теперь я стоял, переминаясь с ноги на ногу, и не решался постучать. Я представил, как сейчас высунется широкая лоснящаяся физиономия Торе, как он, топорща усы и вращая глазами, зарокочет на весь аул: «Вот я тебя, подлец!..»

Я с опаской огляделся, вспомнив, что у Торе-усача есть огромная кавказская овчарка, которая имеет дурную привычку подкрадываться незаметно сзади и зычно лаять лишь после того, как укусит или порвет на тебе штаны. Ни дать ни взять — вся в хозяина! Летом она часто возлежала у ворот, положив голову на передние лапы, белая, б́удто мраморный лев. Ее так и звали Шер, что означает «лев».

Я все же набрался смелости и звякнул о ворота железным кольцом, ввинченным вместо ручки. Первым отозвался сиплым лаем Шер. Затем послышался голос самого хозяина, успокаивающего собаку. Щелкнул изнутри запор, и калитка отворилась. Высунулся заспанный Торе-усач и уставился на меня неподвижным взглядом. Я замялся, тотчас забыв приготовленную заранее фразу.

— Чего тебе? — грубо спросил Торе-усач.

— Учительница велела узнать, почему Донди не приходит в школу, — соврал я и даже глазом не моргнул, стараясь глядеть Торе прямо в лицо.

Но все же он, наверное, понял, что никого не посылала учительница. А если бы и послала, то выбрала бы кого-нибудь другого из их же класса. Не переставая усмехаться, он ощерил желтые от табака зубы и проворчал невнятно:

— Передай учительнице, хан, что Донди присматривает за больной матерью. Понял?

Я молча кивнул, собираясь уйти.

— И еще передай учительнице: в следующий раз пусть пришлет кого-нибудь другого. Если ты опять появишься у моих ворот, я спущу на тебя своего Шера. Понял?

Неребьячья злость захлестнула меня. Я взглянул в упор на Торе-усача и сказал как можно спокойнее:

— В следующий раз, если вы не отпустите Донди в школу, учительница напишет на вас жалобу в райком партии и райком комсомола. Поняли?

Глаза Торе-усача сразу же округлились, стали как пиалы, а шея и щеки мгновенно покраснели. Он хотел что-то сказать,

но не нашелся. Мне показалось, что он сейчас заклеочет как рассерженный индюк. Торе с шумом захлопнул калитку, едва не треснув ею меня по лбу. Я постоял еще минуту, пока не стихло шарканье шагов удалявшегося Торе, потом с силой пнул ненавистную калитку. За ней хрипло залаял Шер.

Я пошел вдоль высокого глиняного забора, которым был обнесен двор Торе-усача. Вдруг ветви урючины, росшей по ту сторону стены, закачались над самой моей головой и с них радужной пылью посыпался мне за шиворот снег. Я поднял голову и увидел Донди. Она держалась одной рукой за оледенелую ветку, другой уперлась в забор, засыпанный снегом. На ней не было платка. Искрились мелкими звездочками снежинки, запутавшиеся среди ее волос. А тонкие, жгутиком, косички сбегали по плечам. Ситцевое платье трепетало от ветра.

— Донди, — сказал я, — ты простудишься! — и осекся, заметив, что левая щека у Донди распухла, а под глазом темнел синяк.

— Что с тобой, Донди? — спросил я, сжимая кулаки. — Кто тебя обидел, не Тахир ли?..

Она грустно улыбнулась и покачала головой.

— Дурды, узнай, пожалуйста, у Эджегыз, что нам задали... Я позанимаюсь дома.

— Я обязательно узнаю у Эджегыз все! Только как мне передать тебе?

— Постучи в мое окошко, я выйду сюда же...

— Конечно! Это самое удобное место для разговоров!

Донди уловила в моей интонации насмешку. Она сморщила брови и приготовилась прыгнуть с дерева. Я поспешно заговорил, желая загладить свою вину:

— Донди, не сердись. Скажи, что все-таки с тобой случилось?

— Ничего особенного... Просто я рассказала отцу, какого мнения о нем аульчане. Упрашивала пойти на работу, какую дали... Отец очень рассердился, ударил меня... Теперь не хочет

отпускать в школу, чтобы я не собирала дурных слухов о нем... — Голос у Донди дрожал, она чуть не плакала. — Только ты, пожалуйста, не говори никому в школе. Если отец дознается, что я тебе об этом рассказала, мне еще хуже попадет...

— Не бойся, Донди, не попадет! — сказал я. — Иди скорее домой, ты замерзла!

Донди кивнула и исчезла за забором. Урючина качнулась. Я услышал, как ухнул под ногами Донди сугроб, в который она спрыгнула.

Придя домой, я аккуратно переписал из дневника Эджегыз задания по всем предметам на листок бумаги и тут же побежал, чтобы засветло передать Донди.

На второй день во время перемены я вызвал из учительской Чары-мугаллима и поведал ему о незавидной участи Донди. У Донди был другой классный руководитель. Но Чары-мугаллим помрачнел и сказал, что постарается что-нибудь сделать. Я бессвязно и путая от смущения слова попросил учителя сделать так, чтобы отец Донди не подумал, будто она пожаловалась в школу. Чары-мугаллим понимающе улыбнулся и, похлопав меня по плечу, успокоил:

— Все будет в порядке.

Вечером наш завуч, Чары-мугаллим и классный руководитель Донди как бы ненароком зашли к Торе. Хозяин, увидев их, растерялся было, но тут же, спохватившись, притворно заулыбался, стал приглашать гостей в дом.

Усадив гостей на мягкие ковры в своей увешанной яркими сюзане комнате, Торе-усач велел жене готовить угощение. А пока пили крепко заваренный чай и разговаривали о житействе, хозяин между делом не преминул пожаловаться на людскую несправедливость, из-за которой выпало на его голову столько испытаний.

Донди не показывалась. Наверно, отец приказал ей сидеть в своей комнате и не высовывать оттуда носа, пока гости не уйдут. Чары-мугаллим перевел разговор на школьные дела и

вроде бы походя осведомился, почему Донди не ходит в школу. Торе-усач с елейной улыбкой отвечал, что его дочка слаба здоровьем, что ей очень трудно дается наука, да и сама она, мол, не проявляет особого рвения к учебе, а он, благодушный отец, не хочет ее неволить. Завуч возразил ему, что девочка хорошо успевает по всем предметам и она вовсе не без способностей. Тогда Торе замялся, стал ссылаться на то, что приболела мать Донди и некому за ней, бедняжкой, ухаживать, кроме родной дочки. Чары-мугаллим заметил, что хозяйка дома, слава аллаху, уже оправилась, видно, от болезни, подала вот им чай и вроде бы неплохо выглядит.

Торе насупился, шумно задышал, выражая недовольство назойливостью гостей. Потом провел рукой по усам и, заулыбавшись, оглядел многозначительно каждого.

— Давайте говорить откровенно, — сказал он и, приложив руку к сердцу, слегка поклонился в сторону завуча. — Вот к примеру, моя жена. Десять классов кончила. А что с того? Какая народу польза от ее грамоты, ответьте мне?.. Готовить умеет, уют в доме создать умеет, копейку сберечь может — вот и хорошо... И Донди, придет время, станет женой своего мужа. Дома, у своей матери, она большему научится, чтобы когда-нибудь стать настоящей хозяйкой...

Торе-усач разглагольствовал и словно не замечал, как мрачают лица гостей, как они недоуменно переглядываются, бросают на него, хозяина, осуждающие взгляды. Наконец завуч прервал разошедшегося Торе, хлопнув ладонью по его колену.

— Вот что, почтенный отец семейства, — сказал он, сдерживая негодование, — если Донди завтра же не явится в школу, дирекция подаст на вас в суд.

Торе запнулся, как только услышал про суд, — слова застряли в горле. Побледнел. Усы обвисли, будто побывали в пиале с чаем. Беспокойно заерзал на месте, прокашлялся, поглядел искоса на гостей, откровенно сожалея, что разоткровенничался с недостойными, сетуя про себя на непонятливость людей, их бесчувственность и неумение оценить душевное рас-

положение к ним, правдивые слова. Но как бы там ни было, сейчас ему вовсе ни к чему сталкиваться с законом. Он покряхтел, тягостно вздохнул — эх-хе-хе-хе!.. — и сказал, вымученно посмеиваясь:

— Я что?... Я разве против? Донди всегда поступает как сама захочет. Она норовистая у нас, всегда сделает по-своему. Нынче что тертые бабы, что девушки пошли — ой-ей, в рот палец не клади!.. — И засмеялся, ударив себя по коленям.

Однако ни в ком его шутка не вызвала улыбки, и он, огорчившись, понурился.

Гости поднялись, угощения дожидаться не стали. Едва прикрыли за собой калитку, услышали, как в доме звякнула об пол, разлетелась вдребезги посуда. Это Торе-усач срывал зло, кричал, что теперь его даже на собственную дочь лишают прав. Еле слышно доносился из-за толстых стен голос Торе-усача. Откликаясь на голос хозяина, зычно залаял Шер, и Торе не стало слышно вовсе. Учителя переглянулись: «Чем все это закончится?..»

На следующий день Донди пришла в школу.

H₂O И ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Прошло несколько лет после смерти отца. Что и говорить, промелькнули школьные годы будто один день. Перезабылись многие подробности тех месяцев, что, приходя на смену один другому, чередуя радости и печали, сложились в эти годы. Но не ошибусь, если скажу, что самая большая трудность выпала на мою долю, когда я уже закончил школу и пришла пора выбрать себе профессию. Я невольно растерялся, когда Байрам, положив мне руку на плечо, спросил:

— Ну кем же ты теперь, братишка, хочешь стать?

В школе я больше всего любил историю и литературу. Правда, были и другие предметы, которые мне нравились, но уже не в такой степени, как история и литература. А к неко-

торым урокам, если уж говорить откровенно, я вообще оставался равнодушен: меня даже нисколько не волновало, если учитель ставил мне низкую оценку. И если бы не выговоры брата, не причитания матери и не насмешки острой на язычок Эджегыз, я бы, может, и вовсе не старался их исправлять.

Да, историю и литературу я любил. Даже учителя-гуманитарники казались мне добрее и симпатичнее, чем преподаватели, скажем, физики или математики. Я так внимательно слушал всегда урок литературы, что мог сразу же после объяснения без запинки повторить материал от начала до конца.

Но многие мои одноклассники не могли нахвалиться, например, учителем математики. Они восторженно говорили о его эрудиции и справедливости. Может, так оно и было. Но мне этот тощий и длинный как жердь математик казался сложнее самих формул, старательно выводимых им на доске. А когда он то и дело вызывал меня и всякий раз твердил, что следует больше внимания уделять математике (следовательно, меньше литературе и истории), то для меня явно индивидуалистическая философия нашего учителя становилась даже менее понятной, чем следствие, вытекающее из закона Кулона, которого за все эти годы я так и не постиг. Говоря языком нашего учителя, темпы моего отставания в математике возрастали в геометрической прогрессии.

С химией у меня тоже сложились не лучшие отношения. Сам предмет я более или менее еще воспринимал. Но меня терпеть не мог учитель химии Давлетмурадов. Однажды в лаборатории я нечаянно пролил спирт и, чтобы учитель не заметил этого, долил в колбу воды. В тот день у Давлетмурадова не получился опыт, который он хотел во что бы то ни стало показать ученикам и где участвовала злополучная колба. Как ни старался, как ни выходил из себя Давлетмурадов, у него ничего не получилось. Неудачный эксперимент скомпрометировал перед классом не только науку химию, но и самого учителя Давлетмурадова. И вот чья-то сердобольная душа, видя растерянность и переживания нашего химика, не смогла, видно,

сдержат накопившейся жалости. На перемене химик узнал про воду, налитую мной в колбу, и целый месяц не допускал меня на свой урок. Да и потом еще долгое время Давлетмурадов не мог простить мне падения своего престижа.

Давлетмурадов, изучавший, как мы знали, французский, разговаривал в нос и ввиду слабости голоса всегда на повышенных тонах. Ему нравилось вышучивать то одного, то другого ученика, если те не знали урока и стояли около доски, потупившись, шмыгая носом. А когда он начинал перекличку, мне казалось, что мою фамилию он всегда произносил особенно громко и при этом нарочно гнусавил еще больше. Опрос на уроке всякий раз начинался с меня. Но меня это уже мало тревожило, потому что изо дня в день повторялось одно и то же. Давлетмурадов, закончив перекличку, отодвигал классный журнал на край стола и, взглянув на меня с иронической улыбкой, произносил:

— Ну-ка, Курбанов, окажи любезность, иди к доске и напиши мне формулу воды.

В химии эта самая формула одна из простейших. Ее любой сможет выписать хоть левой ногой. Я уверенно направлялся к доске и, нисколечко не задумываясь, старательно выводил белым по черному: « H_2O ». Давлетмурадов ставил мне в журнале пятерку да еще и громко восклицал:

— Ах, молодец, Курбанов! Не забыл такую трудную формулу! Видать, серьезно за химию взялся, а?..

— Да, учитель, — подтверждал я, не моргнув.

— Здорово занимаешься?

— Здорово, учитель!

Только спустя много дней, когда кто-то из ребят с ехидной ухмылкой окликнул меня: «Эй ты, H_2O !» — я понял, что Давлетмурадов изощренно мстил мне за давний мой грех.

Таким образом, по окончании школы из всей химии я только и знал как следует формулу воды. А прозвище « H_2O » приклеилось ко мне прочно, словно бы у меня и не было другого имени.

Получив на руки аттестаты зрелости, мы почувствовали себя не желторотыми птенцами, а уже вполне взрослыми людьми. И тем не менее именно теперь как никогда каждый из нас нуждался в серьезном совете близких. Мне хотелось продолжать учебу. Да и мать настаивала на этом. Но куда пойти? Какую специальность выбрать, чтобы не пожалеть впоследствии? Ребята шутили надо мной: «Ты — H_2O , какие у тебя могут быть колебания? Подавай на химфак. Примут без экзаменов». Но я не собирался на химфак.

Вот если бы выучиться профессии, связанной с историей или литературой! Учитель Чары говорил: заниматься историей — все равно что отправиться в путешествие в неведомые страны, где предстоят удивительные открытия. И теперь я хотел в такое путешествие, хотел листать пожелтевшие от времени и готовые рассыпаться страницы больших книг в кожаных переплетах, окантованных золотом, с резными застежками. Меня все больше волновала мысль, что стоит мне приложить силы — и я смогу проникнуть в прошлое своего народа, изучить свой край и даже, может быть, открыть то, чего еще никто на всей земле не знает. Казалось, мне одному дано разгадать тайны волшебства, благодаря которым поэты прошлого могли захватывать своих слушателей и владеть над ними. Мне хотелось проникнуть в особенности художественного мастерства и нынешних писателей, дознаться, почему такое случается, — когда читаешь книги, забываешь обо всем на свете и живешь той жизнью, какую они рисуют. Казалось, постигнувший их секреты и сам должен написать что-нибудь необычайное. Это было очень заманчиво и изо дня в день увлекало меня все больше. Я даже написал несколько стихотворений, но, правда, никому об этом не рассказывал. Понимал — мои стихи очень слабые, не передают и десятой доли тех чувств, что я хотел выразить. Но я не отчаивался. Я знал: прежде надо добыть волшебный ключ, которым поэты отпирают дверь в кладовую с неисчислимыми сокровищами красок родного языка...

В народе говорят: «Делай что тебе советует большинство». Для меня «большинство» составляли моя мать, Чары-мугаллим, Байрам и Донди. Я знал, что кто-нибудь из этого четырехугольника обязательно посоветует мне что-то дельное.

Поразмыслив, я решил, что прежде всего мне следует повидаться с моим учителем литературы Чары-мугаллимом.

Чары-мугаллим сидел во дворе на широком топчане, занимавшем почти половину увитой виноградом беседки. Он очень обрадовался моему приходу.

— А-а, Дурды, проходи, проходи. Спасибо, что не забыл своего старого учителя. Что нового у тебя, Расскажи-ка. Какие планы? — Чары-мугаллим жестом предложил мне сесть рядом с ним.

— Что вы, учитель! — искренне воскликнул я. — Я вас никогда не забуду.

Чары-мугаллим засмеялся, покачивая седой головой.

— Вы все так говорите. А потом приходит время, и реже пишете письма. А потом и совсем перестаете. Разлетаетесь в разные концы света, словно птицы, — и не сыщешь...

— Я не забуду вас, учитель, — повторил я серьезно.

Чары-мугаллим уселся поудобнее, подобрал под себя ноги и погладил меня по голове, как маленького. Наверно, мы всегда казались им, учителям, маленькими, как и родителям.

— Хорошо. Приятно слышать от тебя такое, — сказал он задумчиво.

— Мне надо с вами посоветоваться, учитель. За тем и пришел.

И я поведал учителю, что хочу поступить на историко-филологический факультет Ашхабадского университета. Я заранее знал, что Чары-мугаллим спросит, почему я выбрал именно этот факультет, и, не дожидаясь вопроса, рассказал о своих надеждах, а также о том, что пробую писать стихи.

Чары-мугаллим выслушал меня внимательно и с ответом не торопился. Он хорошо знал мои сильные и слабые стороны. И теперь раздумывал, словно бы положив на чаши весов мои

достоинства и недостатки. Так и не сказав ни слова, он встал, вдел босые ноги в растоптанные шлепанцы и направился в дом. Я оглядел чисто подметенный и побрызганный водой дворик. Позади беседки между подвязанными к шестам кустами винограда буйно разрослась кукуруза. Подле самой глинобитной изгороди две вишни низко склонили гибкие ветви, утяжеленные бордовыми гроздьями ягод. Возле колодца разбита была пестрая клумба, ветерок доносил оттуда терпкий запах райхона.

Чары-мугаллим вынес небольшое ведерко с водой. Потом пошел к винограднику и срезал несколько кистей желтого, прозрачного, словно янтарь, телинбармака и черного, с синеватым налетом монты, опустил в воду. Вернувшись в беседку, поставил ведерко на топчан.

— Бери, угощайся.

Над головой в листьях виноградника шныряли воробьи. Учитель посмотрел на них с улыбкой.

— Оставил им несколько кистей. Не стал надевать мешочки. Склевали. А теперь еще просят...

Помолчали. Виноград был сладкий и хрустел на зубах. А возьмешь несколько ягод — рот сразу наполняется душистым соком.

— Знаешь, Дурды, — заговорил учитель, — все науки важны для человечества, и, конечно, история и литературоведение тоже. Я не могу не одобрить твой выбор. Но, мне кажется, ты ошибаешься, когда рассматриваешь историю и литературу отдельно от других дисциплин. Если хочешь стать образованным человеком, достойным своего времени, не пытайся отместить все прочее в сторону. Историк обязан знать не только прошлое нашего мира, но и диалектику жизни, законы развития общества. Он должен быть сведущ в новых открытиях — и в физике, и в химии, и в математике, и в бесчисленном множестве совершенно новых наук, рожденных нашим веком... Человек, начавший писать, только тогда становится писателем, когда лучше всех знает то, о чем хочет рассказать людям.

Я всегда считал, что наш Чары-мугаллим самый умный человек из всех, кого я знал, и старался запомнить каждое его слово.

— Из всех моих нынешних выпускников я больше всего верю в тебя, Дурды, — продолжал учитель, и мне с каждой минутой становилось все приятнее его слушать. — Не подумай только, что я делаю тебе комплименты. Нет, мне всего-то хочется, чтобы ты уверовал в свои силы. К тому же, если ты уже твердо решил связать свою судьбу с литературой, значит, ты и сам хорошо знаешь себя, разглядел свои склонности, надеешься на свои способности. Я искренне рад, что привил тебе любовь к своему предмету. Литература, Дурды, — это бездонный, необъятный океан с бесчисленным множеством неведомых, больших и малых островов, открыть и изучить которые еще кому-то предстоит... Взять хотя бы нашу национальную литературу. Чтобы прочитать одни только народные дестаны, и жизни не хватит. Разве сегодня мы можем сказать, что наше народное творчество до конца изучено? Нет, конечно!..

После таких проникновенных слов любимого и доброго учителя можно ли было раз и навсегда не решиться стать литературоведом? Мне хотелось сейчас же начать ходить из аула в аул, от дома к дому, разыскивать старинные книги, записывать народные сказания. Я проникся еще большим уважением к известному собирателю фольклора Вельмураду-аге, который когда-то отдал за одну небольшую книжницу рукописей Махтумкули свою стельную верблюдицу.

Радужные мечты кружили мне голову, когда я мчался домой. Взахлеб, перескакивая с пятого на десятое, я рассказал матери о разговоре с Чары-мугаллимом. Она тихонечко вздохнула, погладила меня по стриженной наголо голове и сказала:

— Поступай как хочешь, сынок. Ты уже большой, сам можешь выбрать, что тебе по сердцу. Мне бы только видеть, что ты стал человеком. И чтобы люди ничего не могли о тебе сказать плохого.

Я поцеловал мать в щеку и выбежал из дому. Теперь оста-

валось посвятить в свои планы Донди. Направляясь к ее дому, я невольно замедлил шаги: вспомнил, что больше двух недель не виделся с ней. Готовясь к экзаменам в университете, я не постарался даже узнать, почему она вместе со всеми не собиралась, как бывало каждое лето, абрикосы и яблоки, не прибегала на канал купаться, по вечерам не выходила встречать корову из стада. Может, ее нет дома? Может, она сейчас в райцентре у отца?..

Несколько месяцев назад Торе-усач устроился в сельпо бухгалтером. Ссылаясь на то, что ему не с руки каждый день трястись в «крытой арбе» в такую даль, он купил себе новый дом в районном центре. Люди, побывавшие там, рассказывали, что это большущий каменный дом, крытый железом и обнесенный высоким кирпичным забором, за которым разросся прекрасный сад. Но жена Торе, видать, была рада хоть короткое время пожить без мужа, чтобы отдохнуть, успокоить нервы, и все откладывала переезд из аула. Время от времени она посылала дочку проводить отца. Донди, отправившись в райцентр спозаранку, стирала отцу белье, прибирала в комнатах, поливала цветы в доме, потом брала шланг и пускала воду в клумбы. Управившись, она обычно в тот же день возвращалась в аул.

Летом мы всегда виделись с Донди редко. Я уезжал с Байрамом в пойму Тедженки косить камыш. А когда оставался дома, старался сделать что-нибудь по хозяйству. Байрам часто бывал загружен работой, у него не до всего доходили руки. Наша мама, вроде бы немножко оправившаяся после смерти отца, теперь смотрела на меня как-то по-другому — с радостью, как на взрослого сына, мужчину в доме.

А по вечерам, когда парни и девушки собирались на берегу канала на посиделки, рассказывали друг другу сказки и смешные небылицы, пели новые песни или просто играли в «третьего — лишнего», Донди чаще всего не выпускали из дому. Я издали подолгу смотрел на ее окно, пока в нем не гас свет. Едва оно меркло, и на мое сердце спускался мрак. Мне каза-

лось, что и огромная полная луна лишь отражала свет этого окна, а теперь глядит тускло, безрадостно, что из степи, раскинувшейся за каналом до самого горизонта, веет могильным холодом. Я поднимался и незаметно уходил домой.

Только изредка, когда в наш обветшалый клуб привозили какой-нибудь фильм, я видел Донди. При этих наших мимолетных встречах она бывала молчаливой, прятала от меня покрасневшие глаза — и я понимал, сколько слез ей стоило отпроситься в кино. Она рассказывала, что отец строго-настрого наказал матери никуда не отпускать дочь вечером, ибо Донди уже стала взрослой, а никто не знает, какие у нее дружков в голове бродят мысли. И мать ревностно соблюдала наставления отца.

В кино мы сидели рядом. Пока киномеханик после каждой части фильма менял ленту, Донди грустно рассказывала об их новом доме в райцентре. Не серая аульная мазанка, нет — он был весь белый, с зеленой крышей, стоял в глубине тенистого сада. В нем много комнат. Отец увешал стены коврами, и Донди очень уставала, пока чистила ковры пылесосом...

Когда приезжала Донди, отец всегда бывал в прекрасном расположении духа. Обедать в такой день он приходил домой. Когда дочь, подав еду, присаживалась рядом, он обнимал ее за худенькие плечи и нежно целовал в висок.

— Мне, дочка, на старости лет ничего этого не надо, сама понимаешь, — говорил он, оглядывая стены, увешанные тяжелыми коврами, ниши, заставленные фарфором и хрусталем, — я это для тебя, козленочек мой, стараюсь, для своих внучат. Ты у меня одна. Я сделаю все, чтобы дочь моя стала счастливой. Только ты, родная, во всем должна меня слушаться...

— Ты хочешь уехать из нашего аула? — спрашивал я с тревогой у Донди.

Она неопределенно пожимала плечами и ничего не отвечала. Если я повторял свой вопрос, она только ниже наклоняла голову, отмалчивалась.

— Донди, у твоего отца неправильное представление о счастье! — убеждал я, склонившись к самому ее уху. — Ради мнимого благополучия он сейчас всю твою юность приносит в жертву!.. Ты из-за него не работаешь с нами на хлопковом поле, не ходишь с девушками на луг собирать цветы, а по вечерам тебя никогда не увидишь на нашем всегдашнем месте у канала!.. Даже выглядишь ты — побледнела, словно в парнике росла. Кто знает, что еще взбредет на ум твоему отцу. И ты будешь во всем ему подчиняться?

— Мой отец добрый. Он только очень нервный. С ним нужно ласково...

— Конечно! И во всем уступать!..

— Что ты кричишь мне в самое ухо, Дурды? — спрашивала она, слегка отстраняясь, и лукаво улыбалась. — Мне кажется, когда ты вырастешь, станешь таким же нервным, как мой папа.

— О упаси, аллах! — громко молился я, вскинув руки и закатив глаза.

Сидящие вокруг оглядывались и шикали на меня.

Однажды Донди отыскала в темноте мою руку и стиснула ее в маленьких теплых ладошках. Я вопросительно посмотрел на нее. Она пристально разглядывала меня, словно видела впервые. В ее зрачках отражался светлый экран.

— Ты не любишь моего отца, Дурды. Я знаю почему... Но все равно ты самый-самый хороший на свете! Какие бы перемены ни произошли в моей жизни, знай, я всегда буду так думать.

Донди встала и, пробравшись между рядов, пошла к выходу. Ушла, не досмотрев кино. А я, олух, не пошел за ней. Боялся — заметят, что мы вышли вместе: пошли бы по аулу сплетни. И так их хоть отбавляй. Злые языки только и знают, что нашептывают всякие гадости на ухо Торе-усачу. Вот и держит свою дочь взаперти — мне на горе, сплетникам на радость. А может, Донди для того и вышла, чтобы я пошел следом, чтобы хоть немного нам побыть вдвоем... Может, она хо-

тела сказать мне что-нибудь важное, о чем не решалась говорить в клубе при людях...

Это было две недели назад. Тогда я не придавал словам Донди значения. А теперь будто бы снова прозвучал у меня над ухом голос Донди: «Какие бы перемены ни произошли в моей жизни...» Я вздрогнул, словно меня окатили холодной водой. Какие перемены? Что она имела в виду?..

Я взбежал на насыпь канала и по тропке, заросшей лебедой, направился к дому, где жила Донди. Внутреннее чувство подсказывало мне, что она дома. Да и Эджегыз говорила, будто утром видела, как Донди шла по воду к каналу. Может, приехал Торе-усач и не выпускает ее теперь даже днем? Кто знает, что ему могли наболтать его соглядаты... Что, если на мой стук в калитку явится Торе собственной персоной? Что я скажу ему?.. Я вспомнил поговорку: «Береженного бог бережет» и предпочел подождать Донди неподалеку от шлюза. Это место я облюбовал по двум причинам: во-первых, отсюда хорошо виден был дом Торе-усача, и я мог заметить любого, кто входил или выходил из калитки; а во-вторых, Донди иногда приходила к шлюзу по воду. Около шлюза вода замедляла течение и отстаивалась. Здесь люди брали воду для чая. Из этой проточной воды чай намного вкуснее, чем из колодезной. А Торе-усач и его жена чаевничали по нескольку раз в день, чтобы обильно пропотеть: тогда не так донимала жара. Поэтому я надеялся, что Донди обязательно придет к шлюзу, чтобы набрать прозрачной воды для чая.

Солнце, раскалясь за день добела, уже клонилось к горизонту, но жара все еще не спадала. Правда, над каналом прогуливался прохладный ветерок. Ивы тихо трепетали серебристыми продолговатыми листочками. Они смотрели, любуясь собой, в зеркальную гладь канала и напоминали женщин, распустивших над водой волосы. Я забрался в густую тень ивы и лег в траве. Тотчас низко среди листвы засвиристели в гнезде птенцы. На соседнем дереве, тревожно попискивая, скакала с ветки на ветку мухоловка. Она манила меня под другое де-

рево. Что ж, так и быть. Я ползком перекочевал под иву, куда меня зазывала эта писклявая птичка. Она перелетела к своему гнезду и сразу успокоилась.

А я сидел в укрытии и все больше начинал тревожиться. Когда кто-нибудь гремел на берегу ведрами, я высовывался из травы и раздвигал ивовые ветки, густой зеленой челочкой ниспадающие до самой земли. А Донди все не шла. Я уже начал досадовать: что же это они — перестали пить чай, что ли? По краю степи у горизонта уже растекался алым соком закат. Поближе курился желтый туман — пылит отара, перекочевывая на новое место. Над аулом небо позеленело, а на востоке и вовсе стало темно-синим. Я лег на спину и сквозь просветы в кроне стал смотреть ввысь, решив приметить звездочку, которая загорится первой. Назову ее Донди! Пусть астрономы всего мира называют ее по-своему, а я буду думать, что это мне светит Донди. И так всю жизнь! Я обрадовался неожиданной мысли и весело засмеялся. Потом вполголоса запел «Идет Марал». Но имя девушки Марал в песне я заменил на Донди. Я, конечно, понимаю, что никто не давал мне такого права — менять слова в песне. Но ничего не мог поделать с дурной привычкой вставлять во все песни впопад и невпопад, имя Донди. А где упоминалась Донди, можно ли забыть про Дурды?!. Я тихо пел:

Братец Дурды, гони свою робость!
Вон Донди идет по тропе.
Ступает крадучись, в движеньях — решимость,
Спешит не к реке, а к тебе.
Чтобы увидеть в глазах ее радость,
Ступай ей навстречу.
Если уж имя джигита досталось,
Целуй ее крепче...

Услышав торопливый топот босых ног, я замер. Звякнуло ведро, заплескалась вода. Разбежались круги по каналу, и маленькие волны зашлепались о берег возле самых моих ног. Я осторожно раздвинул ветви и увидел Донди. Не помня себя

от радости, я выскочил из укрытия. Бедняжка Донди испуганно вскрикнула и выронила ведро. Погромыхивая и расплескивая воду, оно покатилося под уклон и чуть не плюхнулось в канал. Я вовремя успел подхватить его.

— Ой, как ты меня напугал, Дурды! — сказала Донди, улыбаясь, и схватилась за сердце.

— Что ж ты! Нынче джейраны в степи — и те не такие пугливые, — заметил я и, снова набрав в ведро воды, подошел к ней. — Ведь прошли времена, когда воровали девушек. Жаль, конечно, что они прошли...

Мне хотелось развеселить ее, а получилось наоборот. Донди перестала улыбаться, сошлись в сборочку брови над переносицей. Она протянула руку за ведром:

— Дай, я пойду. Меня ждут.

— Я помогу тебе, — предложил я, взяв ее за руку.

Она быстро высвободилась и с тревогой посмотрела в сторону своих окон.

Донди заметно похудела за эти две недели. Лицо белое, будто вовсе не коснулся его загар, и резко выделяются черные скобочки бровей и пушистые ресницы. Я заметил, что Донди избегает моего взгляда.

— Отдай ведро, я пойду, — сказала она, глядя себе под ноги.

Прежде, когда Донди разговаривала со мной, она всегда старалась смотреть мне в лицо, и я сам часто отводил взгляд: почему-то не мог подолгу смотреть в ее глаза — как на солнце.

Я не стал ни о чем расспрашивать, зная, что, если случилось что-нибудь важное, Донди сама обо всем расскажет. Она не любила, если я старался у нее что-либо выпытать. Назойливость ее раздражала, я это знал.

— Донди, я очень долго ждал тебя, а ты сразу же хочешь уйти, — сказал я с укором и снова взял ее за руку.

Она быстро оглянулась на свои окна, но руки не отняла. Может, оттого, что густые сумерки обволокли уже землю. Берег, деревья, глиняные стены домов были почти неразличимы

в темноте. Только вода поблескивала внизу, как ртуть, и отражала низкие звезды. Окна, на которые с беспокойством поглядывала Донди, ярко засветились, и от них легли на землю желтые квадраты.

Я молчал. И Донди молчала. Она заметно волновалась. Ее рука дрожала в моей, будто она озябла. Я опустил ведро на землю и привлек Донди к себе.

— Тебе холодно? — спросил я, когда она прижалась ко мне худеньким плечом.

— Нет, — проговорила она еле слышно.

— Донди, я уезжаю учиться в Ашхабад...

Она посмотрела на меня как-то искоса, не поднимая головы, и усмехнулась.

— Очень хорошо, — сказала она равнодушно. — Счастливого возвращения! Для меня это не новость.

— Я только сегодня решил ехать. Как это может быть не новостью? Я пришел посоветоваться...

— Не посоветоваться ты пришел, а сказать, что уезжаешь в Ашхабад... А я и раньше знала, что ты, кончив школу, уедешь из аула. И сейчас, как цыганка, могу предсказать твою будущую судьбу, хочешь? — Она мельком взглянула на меня с какой-то неясной улыбкой.

— Ну-ка!

— В Ашхабаде ты поступишь в университет. Там будет много красивых девушек. Пролетит несколько лет, и в аул ты вернешься не один...

— Донди, из тебя не получится оракул!..

Она пожала плечами:

— Мама мне об этом часто твердит. Я начинаю ей верить... И все же так оно, наверно, и будет, Дурды!..

— Так не будет!

— А как?

— Я поступлю в университет, окончу его, вернусь в наш аул. И тогда мы поженимся... Ты одобряешь мой план?

— Тебе правда очень важно мое мнение?

— Я ждал тебя полдня, чтобы услышать...

— Да-а?.. — Она засмеялась, но тут же оборвала смех, сделалась серьезной. — Я не против твоей учебы, Дурды. Поезжай... А теперь отпусти меня.

Донди потихоньку отстранилась от меня. Из ее глаз вдруг выкатились две слезинки и, как две крошечные звездочки, прочертили на ее щеках две светлые полосы.

— Донди, что с тобой творится сегодня? Ты от меня что-то скрыла! Как ты жила все это время?

— Мы уже полчаса разговариваем с тобой, а ты только сейчас спросил, как я жила эти дни... — упрекнула она. — Отец собирается выдать меня замуж. За своего дальнего родственника. Вот!..

Она спокойно произнесла эти слова. Совсем спокойно. Словно окатила меня водой из своего ведра. Я почувствовал растерянность. Донди выдать замуж? Такую маленькую и слабенькую, как полевой цветок? Я представил, как мгновенно увядают полевые цветы, едва их сорвешь. Я вообразил, как еще не расцветший бутон подминает нога верблюдицы. Я потерянно смотрел на канал, утеравший свой блеск. Небо заволокла туча. Со степи подул теплый ветерок, заиграл подолом Донди. Мы молчали. Донди вздохнула.

— Ну, я пойду, — сказала она тихо. — Такие-то дела, Дурдыхан...

Я молчал.

— Ты не находишь, что мне сказать?

Я молчал.

— Поезжай. Буду рада за тебя, если поступишь.

Донди взяла ведро и повернулась, чтобы уйти. Впервые в жизни я узнал, как бывает больно сердцу, бьющемуся, будто перепел в силке. Я решительно шагнул следом за ней, отобрал ведро, поставил на землю.

— Донди, ты закончила восьмилетку, — произнес я сдавленно, дрожащим голосом. — Едем в Ашхабад вместе. Ты поступишь в техникум...

— Отец наказал маме не выпускать меня на улицу. Он считает, что в таком возрасте уже не следует попадаться на глаза мужчинам. Думаешь, он отпустит меня в Ашхабад?.. Только и знает твердить: «Пора, моя Донди, позаботиться о будущем счастье. Я нашел для тебя батыра, с которым вы сможете продолжить и умножить наш род...» А третьего дня пожаловал к нам тот «батыр». Видела его. Председатель сельпо, родственник и начальник отца... Он и сейчас сидит у нас.

— Донди, как ты можешь об этом говорить так спокойно?..

— За эти дни наплакалась. Руки на себя чуть не наложила... А сейчас пусто внутри. Пусто. Все равно как-то...

— Не говори так, Донди! Уедем отсюда! Поступим учиться! Пусть только кто-нибудь попробует тебя обидеть там!..

— Языком косить сено не устанешь. А как жить буду? На стипендию?..

— Найдем выход. Свет не без добрых людей. Если бы Торе-усач не был твоим отцом, я бы убил его!

Донди настороженно нацелила в меня свои ресницы.

— Дурды, мне неприятно, когда о нем говорят плохо. Он все-таки отец мне. Видать, наша девичья судьба такая — исполнять волю родителей.

— Донди, — закричал я вне себя от ярости, — ты согласна выйти замуж?

— Моего согласия никто не спрашивал... Мне маму жалко. Она слабая и часто болеет. Она боится, что умрет, не повидав внучат. И я за нее боюсь...

— Твой отец и мать — два сапога пара!.. — От бессилия, от невозможности что-либо изменить у меня слезы навернулись на глаза и защипало в носу.

Донди с укоризной смотрела на меня.

— Ладно, я пойду, — сказала она. — Дома заждались, наверно. Еще кто-нибудь спохватится да придет сюда. Горе мне будет, если увидят нас вместе...

Мне показалось, что, если Донди уйдет, я ее больше не

увиджу. Стань моя любовь водой в ведре Донди, я бы выпил ее одним духом всю до капельки. Но, увы, моя любовь — это сама Донди. Я не двигался, словно ноги приросли к земле. А она быстро уходила от меня, слегка изогнувшись вправо под тяжестью ведра, а левой рукой держась за подол. Я сорвался с места и побежал за ней.

— Донди, погоди! — крикнул я.

Мне было бы все равно, если бы даже на нас глядел сейчас весь аул. Я крепко обнял Донди и прижал к себе. Ведро выпало из ее рук, вода, расплескавшись, пролилась нам на ноги. Но я не слышал этого. Я почувствовал самым сердцем прикосновение двух упругих острых бугорков, которые то вздымались, то опускались в такт дыханию Донди. И все больше хмелел, покрывая поцелуями ее лоб, глаза, мокрые от слез щеки, губы. Она стояла, опустив руки, боясь шелохнуться.

— Милая, милая, милая... — шептал я. — Мы ведь живем не во времена Тахира и Зухры. Если мы захотим, никто не сможет разлучить нас. Если ты будешь падать в пропасть, я прыгну за тобой...

— Прыгать не надо, — проговорила Донди, обдав мою шею горячим дыханием. — Удержал бы...

И вдруг ее руки тесным колечком обвились вокруг моей шеи. Донди не укоряла меня, как прежде: «Ты что? Не надо. С ума сошел?..» А стояла притихшая, прикинув ко мне, прижавшись щекой к моей груди, будто слушала, как бьется мое сердце. Потом она обмотала своими косами мою шею и, игриво засмеявшись, спросила:

— Задушить тебя?

— Души, — согласился я.

— Нет, — сказала Донди. — Ты еще понадобишься Родине. Ей нужны способные литературоведы.

— Не смейся, пожалуйста, — сказал я, ни чуточки не обижаясь. Я впервые видел ее такой — улыбающейся и с глазами, полными слез.

— Ты мне будешь писать, правда?

— Буду! — пообещал я.

— Я еще ни от кого не получала писем. Как интересно! Твои письма будут первыми. Ты будешь писать мне про Ашхабад, про учебу, про своих новых друзей... Про столичных девушек.

— Конечно, конечно, — согласно кивал я.

Донди провела по моей щеке ладошкой, словно желала удостовериться, что я в самом деле существую, стою перед ней.

— Ладно, пойдй набери воды. Проводишь меня до дому, — сказала она, тихонечко вздохнув.

Я опрометью кинулся к каналу и наполнил ведро. Она взяла меня за руку и не отпускала, пока мы не дошли до самых ворот. Я хотел передать ей ведро. Она с притворным удивлением выгнула дужкой брови и воскликнула неестественно громко:

— Разве настоящий мужчина может передать слабой девушке такую тяжесть? Если тебя не затруднит, отнеси, пожалуйста, на кухню, — с этими словами Донди широко распахнула калитку.

Я удивился и оробел, нерешительно переступил через высокий порог и последовал за Донди во двор. Ноги вдруг стали словно чужие, не хотели слушаться. Донди обернулась и, увидев, что я приотстал, бросила:

— Не бойся, Шера отец отвел в наш новый дом.

Мне хотелось сказать, что я не столько Шера боюсь, как самого хозяина. Но у меня пересохло в горле, и я чуть не закашлялся.

Мы вошли в прихожую. Дверь в гостиную была открыта. Я краем глаза успел заметить полулежавших на взбитых бархатных подушках перед дастарханом, заставленным яствами, Торе-усача и еще мужчину, примерно одинаковых с ним лет, только безусого. На незнакомце был чесучовый бежевый китель, застегнутый на все пуговицы, несмотря на духоту, и серые коверкотовые галифе. «Жених Донди!» — промелькнуло в голове. Какое-то оцепенение нашло на меня.

— Пожалуйста, сюда, — услышал я тоненький голос Донди и опомнился.

Донди отворила боковую дверь. Я вошел на кухню. Когда ставил ведро на скамейку, расплескал немного воды на пол.

— Какой ты неловкий!.. — рассмеялась Донди. — Ничего, я вытру!

Я вздрогнул от ее громкого и наигранно веселого голоса. Мне хотелось в этом доме разговаривать только шепотом. А лучше всего вовсе не разговаривать.

— Спасибо, — сказала Донди.

Я повернулся к двери, чтобы уйти. И на пороге увидел Торе-усача. Он стоял, слегка подавшись вперед и уперевшись руками в раму двери — загородил мне дорогу. Взъерошенные усы поднялись кверху и нервно подергивались. Он сверлил нас с Донди выпученными от недоумения и злобы глазами, холодно блестящими, словно осколки бутылочного зеленого стекла. Мне ничего не оставалось, как, поднырнув под его руку, протиснуться мимо него и выйти в сумрачную прихожую. Торе даже не изменил позы, словно я для него был ничто, пустое место. Я со страхом подумал, что теперь Донди, наверное, не поздоровится, и, к своему удивлению, услышал ее спокойный тонкий голосок:

— Дурды, погоди, я провожу тебя!

Но Торе-усач с треском захлопнул перед дочерью дверь и два раза повернул в замке ключ. По двери слабо забарабанили кулаки Донди. Она закричала, захлебываясь слезами:

— Открой! Слышишь, открой! Все равно я буду делать как хочу! Я не выйду за этого толстяка!.. Дурды! Дурды, ты ушел? Отвори же мне дверь! — И не в силах больше вымолвить слова, прижалась к двери худеньким тельцем, не сдержала рыданий.

Торе-усач, словно каменное изваяние, стоял, широко расставив ноги, и, подперев спиной дверь, разглядывал меня. Я шагнул к нему.

— Вы не имеете права так поступать! Она же ваша дочь!.. Я пожалуюсь в райком комсомола!..

У Торе нервно дернулась щека. В то же мгновение тяжеленный удар обрушился на мою голову. Я отлетел в угол. Прихожая наполнилась звоном, перед глазами поплыли красные и желтые круги, рассыпались на множество пестрых крапинок. Кто-то поднял меня с пола за шиворот и выбросил за ворота. Я поднялся с земли. Из носа капала кровь. Я медленно побрел к каналу, чтобы умыться. И не переставал думать про Донди.

ПИСЬМА, МОИ БЕЛЫЕ ГОЛУБИ...

Письмо первое

«Здравствуй, мама! Вот уже почти неделю я в Ашхабаде. А вы все еще у меня перед глазами: ты и моя милая сестренка, держась за руки, бежите по платформе за вагоном. А поодаль, за головами провожающих, я вижу высоко поднятую руку Байрама-аги. Передай ему, что я постараюсь выполнить его просьбу. Когда поезд уже тронулся, он обнял меня и сказал: «Не подведи, братан. Знай: твои вступительные экзамены — это и наш экзамен». Я вскочил на подножку и не успел ему ответить...

Извини меня, что я вам не написал сразу, в день приезда. Скажу честно, впервые попав в такой большой город, я позабыл обо всем на свете. Здесь все необычно, не так, как в нашем ауле.

Приехал в Ашхабад рано утром. Вышел на привокзальную площадь, и меня сразу поразило обилие людей. Их было во сто крат больше, чем на нашем рынке в базарный день. Все почему-то суетились — одни бежали в одну сторону, другие — в противоположную. Около таблички с квадратиками и надписью «Стоянка такси» вытянулась длинная очередь. Поминутно подъезжали легковые автомобили и забирали пассажиров,

а очередь не убывала. У дежурного с красной повязкой на рукаве я спросил, как добраться до университета. Он указал остановку троллейбуса и объяснил, что надо ехать до конца.

Мама, ты не бывала в Ашхабаде и потому, наверно, никогда не видела троллейбуса. Это большущий электрический автобус, покрашенный понизу синей, а поверху желтой краской. Только в отличие от автобуса у него сверху торчат два длинных рычага, которые прикасаются к электрическим проводам. Я когда-нибудь привезу тебя посмотреть Ашхабад, этот самый большой и самый красивый город на свете, и тогда ты обязательно прокатишься в троллейбусе.

Мы ехали по проспекту Свободы. Видела бы ты, какая это красивая улица! Вдоль всего проспекта, разделяя его надвое, разбиты клумбы с красными, как огонь, крупными каннами. По обе стороны цветника — потоки машин. И куда ни глянешь — высокие чинары, каких я даже в нашем ауле не видел. Их листва не пропускает солнца, и прохожие разгуливают по тротуарам, не боясь жары. Так что ты напрасно меня уговаривала не ходить без головного убора, чтобы меня не хватил солнечный удар. Весь город спрятан в тени.

Я немножко подсадовал на эти деревья из-за того, что они загораживают высоченные дома с красивыми балконами и большими окнами. Прежде я таких домов не видел. Только на картинках и в кино.

Мы проезжали мимо строительных площадок, заваленных грудями кирпича и строительных материалов. Над ними возвышались стальные подъемные краны, похожие на гигантских аистов. Я слышал, они могут поднимать и устанавливать на место целые стены!..

Пожилой пассажир, сидящий со мной рядом, заметил, с каким интересом я смотрю в окно.

— Впервые в Ашхабаде? — спросил он, улыбаясь.

Я кивнул. Он стал объяснять мне, где мы проезжаем. Мне повезло: я увидел здание нашего Туркменского национального

театра оперы и балета, Дворец спорта, современные кинотеатры. Да и на витрины магазинов стоило поглядеть: в больших окнах за сплошным стеклом стоят куклы ростом с человека, одетые как настоящие люди. Я даже сперва подумал, что это артисты вырядились, чтобы посмешить людей. В общем, в Ашхабаде со скуки не умрешь!..

Пока я доехал до конечной остановки, в троллейбусе осталось всего несколько человек. Водитель объявил в микрофон: «Университет». И как-то сразу сделалось тревожно на сердце. Я вскочил с сиденья и поспешил к выходу. Меня окликнуло сразу несколько голосов: «Молодой человек! Чемодан! Чемодан забыли!» И в самом деле, чуть не оставил чемодан.

В тот же день мне дали место в общежитии. Я поселился в одной комнате с тремя парнями, которые приехали тем же поездом, что и я. Это Ораз, Орунбай и Садык. По-моему, они славные ребята. В их комнате была свободная койка, и они сами пригласили меня. Наверно, и я чем-то им понравился. Мы вместе отправились в университет. Погуляли по тихим пока коридорам, заглянули в лаборатории, осмотрели почти все классы. Они здесь гораздо больше, чем в нашей школе, и называются аудиториями. Большие и чистые окна, много света. Скамьи расположены полукругом у кафедры, с которой профессора будут читать нам свои лекции (я говорю так уверенно, словно уже меня приняли). Я исполнился к этим коричневым скамьям такой нежностью, что захотел погладить их, да вот краска еще не высохла и прилипала к рукам. Видать, только недавно был ремонт. Счастливы те, кому доведется сидеть на них, этих полукруглых скамьях.

Мама, ты просила описывать все подробно. Вот я и стараюсь.

Потом мы вчетвером пошли в студенческую столовую. Здесь тоже все необычно: аккуратные белые столики, под выпуклым стеклом расставлены закуски в маленьких белых тарелочках, на потолке большущий вентилятор, словно лопасти вертолета... Помнишь, ты наказывала мне побольше есть, в обеденное вре-

меня заставлять себя перекусить, даже если не хочется. Так вот, у меня открылся небывалый аппетит — за один присест уплетаю первое, второе и третье. Мы все четверо заказали одинаковые блюда: удивительно сошлись наши вкусы. Хорошо, если и в остальном все будет обстоять так же. Дома я ел мало: наверно, оттого, что набивал живот всякими фруктами, дынями и арбузами, целый день бегая по садам и бахчам. Готовят в нашей столовой вкусно. И все же я успел соскучиться уже по твоим горячим чурекам, только что вынутым из тандыра, и жирной домашней чорбе...

Через неделю после моего приезда начались вступительные экзамены. Пока чувствую себя уверенно. Но результаты еще неизвестны. Напишу обо всем позже. За меня нисколечко не беспокойтесь.

Обнимаю тебя и малышку Эдже. А Байраму-аге крепко жму руку.

Ваш Дурды».

Письмо второе

«Многоуважаемый Чары-мугаллим! Вам шлет привет ново-явленный житель Ашхабада Дурды. Спешу сообщить, что я уже без пяти минут студент университета, который вы сами когда-то кончали.

Учитель, я с благодарностью вспомнил о вас на первом же вступительном экзамене. И не только потому, что в школе постоянно чувствовал ваше внимание и заботу. (Это чувствовали в классе все.) Но главным образом потому, что мне довелось писать сочинение на свободную тему: «Достойный уважения человек».

Когда я жил в ауле, я не задумывался, кого уважаю больше других. И вот задумался. Стал вспоминать писателей, художников, артистов, народных бахши, о которых вы рассказывали. Я подумал: «Почему люблю их всех и то, что они творят?» Мне показалось на секунду, что я опять в нашей школе на уроке литературы и слушаю вас, учитель. Я представил,

как вы, поблескивая стеклышками очков, обводите нас внимательным взглядом и глуховатым голосом рассказываете что-то интересное, чего мы не найдем в учебниках. Класс слушает, затаив дыхание... Вот почему я люблю всех тех, о ком услышал от вас! Вы любили их сами и умели привить это чувство нам. Многие из нас только благодаря вам полюбили историю и литературу.

Еще я вспомнил то, как в тягостные минуты всегда влекло меня к вам. У вас, кроме дельного совета, всегда находились ласковые ободряющие слова, которые вселяли надежду, заставляли верить в свои силы... Когда у нас, у ребятни, оставались свободные минуты от игр и шалостей, мы всегда прибегали к вам, чтобы помочь вам управиться по хозяйству. Мы вместе с вами возились в огороде, окапывали деревья в саду, из длинных жердей делали подпорки и ставили их под отяжелевшие яблоневые ветки. А вы нам рассказывали то, чего не успевали открыть на уроках. Тогда же я впервые узнал о неразгаданных тайнах египетских пирамид, об исчезнувшей стране Атлантиде, о древних цивилизациях, о предстоящих полетах к другим мирам и о многом другом. Я не помню минуты, чтобы нам было с вами скучно.

Почему мы вас так любили? Никто из нас не задавал себе этого вопроса. Это было естественным. Но сейчас, на экзамене, я задумался над этим. Вы были для нас очень понятным. Наверно, это происходило оттого, что вы умели как-то снизойти до нас, а мы изо всех сил старались возвыситься и дорасти до вас... И если каждый из нас оставил при себе хотя бы по зернышку от всего, что вы давали нам, эти зерна прорастут и превратятся в большущий сад. Я верю в это.

Так я и написал в своем сочинении.

Я упомянул в своем первом «произведении» и о том, чего вы, может быть, не знаете. Когда-то давно мы считали, что если вы ставите кому-нибудь в журнале пятерку, то сажаете его «на самолет», если четверку — «в поезд», тройку — «на коня», двойку — «на осла», а если уж единицу — то «на

черепаху». Сейчас об этом смешно вспоминать. Но тогда мы это принимали всерьез и немало подтрунивали над теми, кому пришлось трястись на «осле» или тащиться на «черепахе».

Сейчас спешу сообщить вам, что за свое сочинение я «сел в поезд первого класса». Ура! Я хлопаю в ладоши и прыгаю от восторга!..

А вот по письменному русскому прокатился на «коне». Но не падаю духом: конь — все же не осел. Тем более если добрых кровей!..

Чары-мугаллим, по правде говоря, мне и сейчас здорово не хватает вас. Были бы вы поближе, пришел бы посоветоваться.

А дело вот в чем.

Ребята, которые сдают экзамены вместе со мной, вроде бы ничем не отличаются друг от друга. Но, оказывается, это только внешне. Есть такие, что имеют своих «толкачей».

Случается, дверь в аудиторию неожиданно отворяется и, несмотря на специальную табличку с надписью: «Тише! Идут экзамены», входят какие-то лица, довольно солидные на вид. Иногда экзаменаторы торопливо идут им навстречу, подобострастно пожимают им руки, выходят с ними в коридор, о чем-то переговариваясь.

А бывает, что такие посетители уверенно следуют прямо к столу, шепчут что-то на ухо экзаменатору. А тот заискивающе улыбается и согласно кивает головой.

Вначале я не понимал, что означают эти визиты во время экзаменов. «Неужели пожилые люди собираются поступать в институт?» — думал я. Заговорил об этом — товарищи осмеяли меня. Оказывается, эти люди, пользуясь своим авторитетом, хлопчут о родственниках и земляках. Присмотревшись повнимательнее, я заметил, что подопечные этих лиц, почти не готовясь к экзаменам, всякий раз уходят от экзаменатора с довольной ухмылкой.

Мне особенно сделалось обидно, когда моему товарищу

Орунбаю предложили забрать документы и катиться на все четыре стороны. Он, как и я, приехал из далекого аула. После школы три года работал в колхозе чабаном, чтобы накопить денег для поездки в Ашхабад. Конечно, он многое забыл из того, что проходили в школе. Но зато теперь я видел, как старательно он готовился к экзаменам. Мне кажется, он никогда не спал: просыпаясь утром, я его видел за столом уткнувшимся в учебник, ложась в постель, снова видел Орунбая в той же позе. И на экзамене он отвечал, на мой взгляд, совсем неплохо. Только не очень свободно у него подвешен язык. И бойкости не хватает.

Я подумал, что, наверное, Орунбаю возвратили документы из-за тех типов, что в университет втискивают дядюшки. Нужно же откуда-то взять для них вакансии!..

Учитель, я мысленно обратился к вам и подумал, что бы вы могли мне посоветовать. Считаю, поступил правильно. Я поговорил с ребятами, и мы, несколько человек, пошли к ректору, рассказали ему обо всем, что видели своими глазами. Он поблагодарил нас и обещал все уладить...

Орунбаю разрешили пересдать экзамен. И мы вот уже несколько дней не видим больше солидных дядюшек с двойными подбородками. Маленькая, но победа! Первая!

Учитель, помните, вы как-то рассказывали нам о телепатии. Теперь, прежде чем предпринять что-нибудь серьезное, я всегда буду посылать к вам свои мысли, а затем дожидаться ответа. Буду советоваться с вами, как с отцом.

Дурды».

Письмо третье

«Милая, милая, милая Донди!

Я не надеялся, что ты придешь меня провожать. Я увидел тебя, когда поезд уже отошел от станции и набрал скорость. Стоял у окна, глядел, прощаясь, на нашу степь. И увидел на крутом холме твою знакомую фигурку в салатовом платье.

Ты махала над головой красной косынкой, словно хотела остановить поезд. Я бросился в тамбур, открыл дверь. Но ты уже была далеко и уходила в степь, а конец косынки волочился по земле. Я крикнул изо всех сил: «Донди-и-и!..» Но ветер отнес мой голос в сторону, и я едва удержался, чтобы не спрыгнуть с подножки. Вышел проводник и, обругав меня, велел пройти в вагон. Я не стал с ним ссориться: наверное, взбрело ему в голову невесть что. Я всю дорогу думал о тебе. Закрою глаза и вижу: бескрайняя степь, колышутся порыжевшие травы, ты медленно уходишь вдаль, склонив низко голову, а ветер рвет твою платице, треплет волосы, в опущенной руке косынка — волочится по земле... Мне не дает покоя мысль, что в тот день ты хотела мне что-то сказать, но не успела. Умоляю тебя, напиши обо всем в письме, ничего не скрывая.

Донди, можешь поздравить меня — я теперь студент. Когда все трудности уже позади, кажется, что так легко было сдавать экзамены! Может, это оттого, что я всегда представлял, будто рядом со мной ты. Мы вдвоем сдавали экзамены: я ни разу не забыл взять на экзамен вышитый мешочек для чернильницы, твой подарок перед отъездом. Я, конечно, писал авторучкой. Но этот мешочек, в котором ты носила чернильницу, стал моим талисманом, приносящим счастье.

Донди, ты знаешь, в университете учится очень много девушек. Я даже удивляюсь, как их много. Некоторые приехали из дальних аулов. А Энегуль, одна из моих однокурсниц, уехала из дому против воли родителей. Разъяренный отец приезжал, чтобы вернуть ее домой, угрожал высечь жезлами, убить. Но мы всем курсом вступились за нее и не дали в обиду. Тогда родитель стал слезно умолять ее вернуться домой. Уверял, что городская жизнь испортит ее, что она может погубить честь семьи. Ну ни дать ни взять — твой отец! Я несколько раз видел, что он стоял по ночам под окнами общежития, где жила Эне: боялся, что кто-нибудь посягнет на честь его дочери. Оказывается, всюду можно встретить психов!..

Эне нашла в себе мужество доказать отцу, что он не прав. Пожелала учиться и добилась своего. Донди, а ты?..

Помнишь, о чем говорили мы в последний раз?

Я очень боялся тогда, что ты не придешь... Солнце садилось уже, в старом яблоневоm саду быстро темнело. Я подумал, что ты побоялась выйти из дому, но вдруг услышал, как хрустнул сучок. Ты шла между яблонек крадучись, оглядывалась, вздрогнула, когда я тебя тихонечко окликнул, чуть не убежала из сада. Мы залезли в чей-то стог, сидели молча, прижавшись друг к дружке. Я слушал, как бьется твое сердце. Потом спросил:

— Донди, тебя отец бил, когда прогнал меня?

И ты рассказала, что ответила отцу:

— Если тронешь меня хоть пальцем, я пожалуюсь Чарымугаллиму!

Он не посмел тебя ударить. Испугался своих же аульчан. То была твоя первая победа, Донди.

Ты сказала мне тогда, что закончишь десятый класс, чего бы это тебе ни стоило, — даже если твой отец не согласен. Потом приедешь в Ашхабад. Ты обещала, помнишь?.. Я жду тебя. Я буду уже на третьем курсе. Нам хватит наших стипендий. Кроме того, я смогу где-нибудь подрабатывать и помогать тебе. А когда закончу университет, мы поженимся... Когда я говорил тебе об этом, ты молчала. Мне казалось, что ты одобряешь мои слова. И вдруг мою руку обожгла горячая капля. Ты так и не объяснила, почему плакала, Донди. Как я ни просил, ты не сказала. Может, ты хотела что-то сказать мне в тот день, когда я уезжал? И не успела добежать до станции?..

Донди, я очень прошу тебя — проведай мою маму. Напрасно боишься, что она плохо примет тебя. Она добрая, она поймет. Ведь мы не виноваты в том, что произошло между нашими отцами. Жаль, что ты тогда не захотела прийти на станцию вместе с мамой и Байрамом проводить меня. Я бы сказал матери и Байраму, что мы любим друг друга. Недавно я напи-

сал маме об этом в письме. Я бы сдружил вас с сестренкой. Эджегызка — славная девчонка, а главное — справедливая. Она, когда вырастет, наверно, станет адвокатом или судьей.

Это письмо я посылаю ей. Она тебе передаст.

Обнимаю тебя.

Твой Дурды».

КОММУНА ИЗ ЧЕТЫРЕХ

Я студент! Утром, еще не открыв глаза после сна, я думал о том, что я — студент. В перерывах между лекциями, когда, перепрыгивая через две ступени, бежал по университетской мраморной лестнице, звуки моих шагов говорили мне, что я — студент. И девушки мне теперь улыбались, наверно, потому, что я — студент. У меня радостно колотилось сердце, когда вспоминал, что я — студент.

Минул месяц, как в университете начались занятия. Мне несказанно нравилось сидеть в притихшей многолюдной аудитории и слушать лекции. Для меня еще не существовало категории лекций интересных и неинтересных. Я старался записывать слово в слово все, что говорил лектор. Часто не успевал, злился на свою медлительность. Тогда старался заглянуть через плечо сидящей впереди Энегуль в ее тетрадку.

Наши девушки, будто сговорились, все сидели в первом ряду. С начала занятий они как бы закрепили за собой эти места. Никто не возражал, хотя многим из парней, может, тоже хотелось сидеть в первом ряду. Но теперь каждый из нас считал себя уже взрослым: нынче запросто не подойдешь, не дернешь соседку за косичку. Напротив, ребята как-то опасливо сторонились девчонок, предупредительно уступали им дорогу, места. И первый ряд в аудитории уступили девушкам без споров, выразив этим свое высокое почтение к ним.

Правда, на нашем курсе оказались девчонки разные. У одних можно было и спросить, если что недослышал, загово-

ришь — они охотно отвечали, были интересными собеседниками. А другие одним своим видом напоминали колючку. Таких я опасался и обходил стороной.

Самого меня природа явно обошла, раздавая остроумие и веселость. Может, поэтому я всегда симпатизировал тем, кто был горазд на шутку, умел острить и часто искренне смеялся. Даже девушек, которые, не разобравшись в шутке, густо краснели и мгновенно затевали ссору, я остерегался и старался не заводить с ними разговоров.

Передо мной сидели Энегуль и Гульнара. На каждой лекции я видел их ровные проборы, косы, уложенные на затылках колечком, и у обеих одинаковые черные бантики. Даже имена у них были схожие: одну родители любовно называли «Гранатовый цветок», другую — «Цветок матери». Но хотя обе и звались «цветками», до чего ж это были разные девицы!..

Когда я смотрел на Энегуль, в моем воображении возникал нежно-розовый, пьянящий легким ароматом цветок шиповника. Она любила пошутить, часто сама затевала споры с ребятами и упорно стояла на своем, бойко парировала выпады в свой адрес. А если кто-нибудь пытался поддеть ее, она презрительно усмехалась и, ни секунды не мешкая, срезала незадачливого шутника метким словом. Мне кажется, большинство наших ребят с первого же дня влюбились в Эне. И все-таки ее отец зря так убивался за свою дочку. Энегуль была не из тех, кто может дать себя в обиду. Ее блестящие, словно маслины, чуть раскосые глаза начинали светиться, едва она вступала в спор. Щеки розовели. На лице появлялась ироническая улыбка. И она становилась красивее всех девчонок нашего курса.

А вот Гульнара была другой. За короткое время она успела несколько раз поссориться с подругами, не говоря уже о парнях. Меня так и подмывало назвать ее крапивой, хотя внешне она скорее напоминала декоративную южную розу. Она и носила всегда яркие платья. Одевалась со вкусом, по моде. Надо отдать должное ее внешности: прямой тонкий нос, брови вразлет, чуть припухлые вишневые губы, угольно-черные

волосы, нежный овал лица. И все же я думал, что тот, кто влюбится в нее с первого взгляда, потом быстро разочаруется.

Гульнара всякий раз перед самым приходом лектора (будто подкарауливала его) плавно вступала в аудиторию, садилась на свое место рядом с Эне и словно окаменевала. Только иногда поднимет руку, чтобы поправить заколотые на затылке волосы. Так и просиживала все лекции, не шелохнувшись и не перекинувшись ни с кем даже словечком.

Однажды Орунбай, хихикнув, заметил тихонько: «Ба, да кому же в невесты достанется эта статуя?» Хотя он и не назвал никого, Гульнара, видать, поняла — медленно обернулась и, испепелив наглеца взглядом, громко заявила:

— У тебя черви завелись в том месте, на котором сидишь? Или всего только язык зачесался? Ходячий труп!

Сидящие поблизости прыснули, зажимая рты ладонями. А бедный Орунбай остолбенел, сам видел — у него отвисла нижняя челюсть, а лицо стало землистого цвета. Целый час бедняга не в силах был слова выговорить — язык отнялся. Я подумал: лучше бы не оглядывалась красавица Гульнара.

Когда в институте кончались лекции, мы возвращались в общежитие вчетвером: я, Орунбай, Садык и Ораз. По пути мы заходили в магазин и покупали что-нибудь на ужин. После этого сетку, набитую продуктами, доставалось нести Орунбаю, и вот почему. С тех пор как мы поселились вчетвером в одной комнате, прошло достаточно времени, чтобы узнать, кто на что горазд. В Орунбае мы заметили хозяйственную жилку, чего нам всем не хватало. И, не сговариваясь, выбрали его завхозом. Кроме того, он был громадного роста и недюжинной физической силы и, видно, сознавая свое превосходство, носить сетку с покупками вызвался добровольно.

Мне хочется познакомить вас с моими ребятами. В тот радостный день, когда мы узнали, что стали студентами, решили отметить счастливое событие. Купили вина. Собрались

в нашей комнате. Ораз, подняв граненый стакан с шампанским, воскликнул:

— Да здравствует коммуна четверых!

Мы поддержали:

— Гип, гип — ура!.. — Чокнулись, от радости едва не расколов стаканы, и выпили.

С того вечера и началась наша студенческая коммуна. Мы редко говорили о ней, но знали, что она есть.

Впрочем, раз уж я начал рассказывать об одном из членов нашей коммуны, Орунбае, то, пожалуй, доскажу до конца. И, наверно, правильно сделал, что начал с Орунбая. Потому что он даже на занятиях по физподготовке стоит в строю первым. Видимо, когда аллах распределял между людьми росты, и тогда Орунбай каким-то образом оказался первым. Взял, сколько ему было нужно, а потом выпросил еще. Так что теперь его всегда можно заметить издалека, даже в толчее у кассы кинотеатра.

Его чуть продолговатая голова сидит на короткой мощной шее, волосы на макушке редкие — правда, кажется, нет оснований думать, что это от выдающегося ума.

Мы Орунбая любили и всячески оберегали. Несмотря на свой рост и крепость, он был наивен и беспомощен, как ребенок. Наш добродушный великан часто попадал впросак из-за своей беспредельной доверчивости к людям. Студенты знали в нем эту слабость и часто разыгрывали его. К примеру, скажут: «Орунбай, ты слышал, в ауле Паласолтан забрюхател осел и родил осленка?» Он удивится и спросит: «А нельзя ли, хозяин, увидеть этого осла?» Он себе не представлял, что люди могут выдумывать небылицы. Ему серьезно отвечали: «Поезжай в Паласолтан, увидишь». И не останови мы его вовремя, Орунбай бы поехал.

Орунбай почему-то всех величает «хозяин». Будь ты моложе его или старше, все равно будет называть тебя «хозяин».

Он еще не пропустил ни одной лекции. Если мы, собираясь

в институт, медлили, он ворчал на нас: мол, по нашей вине опаздывает, нервничал, ходил из угла в угол. Но, сдается мне, ему больше нравилось просто сидеть в притихшей светлой аудитории и предаваться раздумьям, нежели слушать лекции. Я ни разу не видел, чтобы Орунбай вел конспект. Когда ни посмотришь, он либо мечтательно глядит в потолок, либо, сгорбившись, оттопырив лопатки, торопливо пишет цифры на клочке бумаги, словно нет у него более подходящего времени, чтобы подсчитать наши расходы.

Однажды мы слушали лекцию по философии, и профессор, оборвав себя на фразе примерно такой: «Дипломат должен быть дальновидным, уметь предугадывать события и видеть завтрашний день...», неожиданно обратился к Орунбаю:

— Прошу вас, скажите, какая черта должна отличать дипломата?

Орунбай медленно поднялся. Он не слышал ничего, а сидящие поблизости решили, что не так уж трудно повторить немудреные слова лектора, и молчали. Поняв, что подсказки не последует, Орунбай пробормотал ни с того ни с сего:

— Наступление Антанты, хозяин...

Студенты засмеялись. Профессор нахмурил брови, повторил вопрос. Орунбай потупился. Сидевший позади Садык, желая спасти Орунбая, дернул его за полу пиджака. И не успел Садык раскрыть рот, как Орунбай по-своему истолковал этот знак:

— Оглядываться назад, учитель! — поправился он.

Аудитория вновь покатилась со смеху, но всем на удивление профессор кивнул и подтвердил:

— Совершенно верно! Правда, я этого еще не говорил, но на вашем примере я вижу, что мои студенты начинают самостоятельно мыслить.

Никто не понял, пошутил профессор или сказал серьезно, но после этого случая к Орунбаю пристало прозвище Дипломат. Он не обижался.

А самым старшим по возрасту в нашей четверке был Са-

дык. Мы с ним подружились, когда я только приехал в Ашхабад. Он-то и пригласил меня жить в свою комнату и познакомил с Орунбаем и Оразом.

Как дипломаты отличаются от всех прочих людей дальновидностью, так Садык выделялся среди нас искусством вкусно готовить. Даже когда у нас кончались продукты, он умудрялся состряпать такие блюда, что пальчики оближешь. При этом он глубокомысленно рассуждал о том, что подобные закуски подавались на дастарханы только шахам и султанам. И у нас не было оснований ему не верить. Зато после еды, по настоянию самого повара, старого холостяка, мы должны были воздавать хвалу его уменью и, отходя от стола, произносить: «Ниспошли, аллах, нашему Садыку самую красивую невесту». Хотя самого Садыка с его круглым лицом, побитым оспой, красавцем не назовешь.

Садык, конечно, расхваливал свою «султанскую еду» больше всех и уписывал за обе щеки. У него был завидный аппетит. Мне иногда казалось, что он может съесть целую верблюдицу и не признается, что сыт.

После еды Садык мог целый час неподвижно возлежать на кровати, блаженно откинувшись на подушку. Пот блестел на его рябом лице, как лужи на такырах после дождя. Ему нравилось хорошенько пропотеть. Если он был в добром расположении духа, то, отдохнув, мог рассказать анекдот или какую-нибудь небылицу, горазд был на выдумку, любил вспоминать веселые истории, в которые якобы попадал. Никто из нас с первых же дней не принимал его болтовню всерьез, кроме Орунбая. Орунбай всегда слушал его, растопырив уши, и задавал всякие нелепые вопросы, вызывая этим больше смеха, чем сам рассказ Садыка.

Если у нас кончались деньги, Садык мог безапелляционно заявить:

— Ответственность спасения нашей коммуны от голодной смерти беру на себя. Вечером поведу вас в ресторан! Плачу сам! Молитесь о моем здравии и о том, чтобы мою шею нако-

нец обвила белоснежными руками самая красивая девушка в Ашхабаде!..

— О аллах всемогущий, удовлетвори ты все пожелания нашего Садыка. Аминь! — произносил Ораз, закатив глаза, и проводил по гладкому подбородку ладонями.

— Аминь!.. — подхватывали мы и повторяли его жест.

Садык принаряжался, уходил. Мы оставались ждать вечера, подтянув потуже пояса. Наступала ночь. А Садыка все не было. Каждый, чтобы отвлечься, старался заняться каким-нибудь делом.

— О аллах, мы берем свои слова обратно! — жаловался Ораз, когда ждать становилось невмоготу.

Только утром, проснувшись, нашли мы Садыка спящим на своей кровати. Растормошили его — и видим: выражение лица у Садыка такое же унылое, как у нас. И мы, щадя его самолюбие, не задавали вопросов. Каждый думал, где бы раздобыть денег: одолжить или каким-то способом подзаработать — на товарной станции поразгружать вагоны или наняться к кому-нибудь делать кирпичи...

Третьего моего друга, как вы уже, наверно, догадались, звали Ораз. Родом он был из Мары.

Ораз три года назад кончил десятилетку, но поступить в институт не смог: пришлось идти работать, чтобы содержать старую мать и невестку с племяншами, покуда не возвратится с военной службы старший брат. А когда брат вернулся, они вместе работали еще целый год, и, видать, военная подтянутость передалась Оразу от брата. Он оказался среди нас самым дисциплинированным, сразу составил себе распорядок дня и старался строго его соблюдать: вставал в шесть утра, извлекал из-под кровати гантели и делал гимнастику. Потом завтракал и начинал готовиться к занятиям.

Вначале мы все были в нем страшно разочарованы: гремя гантелями и посапывая во время гимнастики, он будил нас раньше времени. Особенно недовольно ворчал Садык — правда, ленись открыть глаза и сунув голову под подушку: Садык

больше всех нас любил поспать. Но постепенно мы привыкли к странным повадкам Ораза. А теперь и сами постепенно усваиваем его «воинский» режим. Правда, когда мы все четверо, усердно предаваясь гимнастике, толчемся по комнате, к нам прибегают с протестом с нижнего этажа. Но на днях слышал я краем уха, будто ребята, живущие под нами, тоже купили гантели. Сдается мне, с легкой руки Ораза все в общестии станут скоро спортсменами.

Я стал замечать за собой, что, подражая Оразу, невольно перенял его манеру жестикулировать, покровительственно хлопывать собеседника по плечу. Незаметно для себя начинаю пользоваться его словами: «старина», «малыш», «дед», — Ораз даже девчонок называет «старухами».

Ораз любит хорошо и красиво одеться. Он как-то отозвал в сторонку Орунбая, пришедшего в институт в измятых, словно жеваных, брюках и расстегнутой рубашке, на которой не хватало пуговиц.

— Послушай, дед, — сказал Ораз, — почему ты пришел неодетый?

— Как неодетый? — изумленно вытаращился Орунбай.

— Ты только прикрылся, чтобы не быть голым. И то пупок выставил напоказ.

Орунбай испуганно оглядел себя. Потом расплылся в улыбке и погрозил пальцем:

— Разыгрываешь меня, ведь не видать пупка...

Сам Ораз своей аккуратности, наверно, тоже научился у брата. Одежда на нем была тщательно выглажена и подогнана по фигуре. Он всегда знал, какая в нынешнем сезоне мода, в соответствии с этим сужал или расширял брюки, перемещал с места на место карманы, перешивал пуговицы.

Мы часто подтрунивали над этими его привычками: мол, они к лицу только девчонкам. Но и сами не заметили, как его манера следить за собой передалась нам: скинувшись по рублю, купили электрический утюг.

Иногда мы старались поддеть Ораза, высмеивая его пи-

жонство. Он отмалчивался, усмехался. Он вообще немногословен был, наш Ораз. Даже когда спрашивал его преподаватель, отвечал кратко и четко, не мешкая, словно рапортовал.

И конспекты, которые Ораз вел на лекциях, были под стать его ответам. Все в них излагалось сжато и понятно — самая суть. Когда оставалось мало времени до экзаменов, я предпочитал проштудировать его конспекты, а не зубрить учебники, толстые, как кирпичи. Он охотно давал нам свои записи, да и не мог иначе: ведь он первый назвал наш союз «коммуной четверых».

СМЯТЕНИЕ

Мохнатые снежинки плавно кружатся в воздухе и, едва коснувшись земли, тают. Ветер выдувает из арыков прелые листья, устилает ими тротуар. Низко, чуть не задевая голые ветви чинар, ворочаются грязные облака. Они заслонили небо и не пропускают свет. Быстро наплывают сумерки.

Тоска.... И без того тягостно на сердце, а тут еще ненастный день добавляет. Я медленно шел по улице. Полы моего пальто трепал нахальный ветер, толкал меня то в спину, то в грудь, то в плечо. Я застегнул все пуговицы, надвинул до бровей ушанку. На остановке троллейбуса девчата и парни громко разговаривали и смеялись. А меня злил их задорный хохот. Тягостно на душе, и кажется, что мир померк. Почему они этого не замечают? Почему им весело, когда мне хочется скулить и выть по-волчьи?.. Я поспешно ушел от остановки. Решил идти пешком. От главпочтамта до нашего общежития не так уж далеко.

Вначале я спрашивал на почте письма раз в неделю. Потом стал наведываться чаще, через день. А теперь хожу два раза на день. Получил несколько писем от Байрама, написанных под диктовку мамы. От Чары-мугаллима. И только от Донди ни одного письма.

А вначале я думал, надеялся, что первой мне ответит

Донди. Даже поздним вечером, ложась спать, я подолгу не мог уснуть, все воображал, как она с радостью выхватит мое письмо из рук Эджегыз, обнимет ее и убежит в сад, и будет читать, украдкой поглядывая по сторонам, чтобы никто ее не застал врасплох.

Вслед за первым я написал Донди еще два письма. И опять не получил ответа.

В каждом письме к маме я спрашивал, здоровы ли все они, спрашивал, что изменилось в ауле за мое отсутствие, как учится Эджегыз и здоровы ли ее одноклассники. Получив ответ, я перечитывал его несколько раз. Но хотя бы словечко о Донди!.. Будто все сговорились ничего не писать о ней. А вдруг Эджегыз не сумела передать ей моих писем?..

Подойдя к общежитию, я остановился у подъезда: у меня сейчас, наверное, слишком кислая физиономия, чтобы мое появление привело в восторг членов нашей коммуны. Я представил себе, как они смиренно сидят за столом над учебниками, и невольно усмехнулся: небось близорукий Орунбай уткнулся носом в страницу и битый час зубрит один и тот же абзац из Гегеля.

Староста нашей комнаты Ораз предложил ввести в устав коммуны обязательные занятия за «круглым столом» от семи до десяти вечера. Отступление от устава допускалось в исключительных случаях. А мне нынче не то что зубрежкой — дубиной в голову ничего не вобьешь, никак не мог заставить себя усесться за «круглый стол». Что я скажу ребятам? Рассказывать про Донди не хотелось. Впрочем, нет, про Донди я им уже говорил. И не раз. Они не знают только того, что Донди меня забыла, что я каждый день болтаюсь между общежитием и почтой, как челнок в ткацком станке. Представляю себе иронические улыбки ребят, когда они узнают обо всем, — и к горлу подступает сухой комок злости на свою доверчивость, на неверность Донди. Ораз, правда, достаточно благороден и не начнет насмешничать и напоминать, что он оказался прав...

Когда я рассказал ребятам про Донди, Ораз пытался доказать мне, что у первой любви конец всегда печальный, что первая любовь искренна, но наивна и очень скоро проходит — перегорев, испаряется, тает, как дымок в небе. Я спорил с ним и благородно негодовал, как это Ораз собирается разуверить меня в Донди? Неужели он оказался прав, а я настолько наивен?.. Что ж, не пишет — не надо! Забыла — пусть! Я тоже сумею забыть. Однако насмешки друзей вряд ли забудутся легко. Поэтому я молчал, таил все в себе, избегал расспросов друзей. И сейчас не знал, как скоротать время.

Разбрызгивая коричневый талый снег, к остановке подкатил троллейбус. Около общежития всегда выходило много народу. Парни и девушки, точно горох, высыпали из тесных дверей и шумной гурьбой устремились к общежитию. Я увидел Энегуль. Внезапно озорная мысль пришла мне в голову, я догнал ее и взял под руку. Она улыбнулась.

— Эне, — сказал я. — Пойдешь со мной?

— Хоть на край света, — ответила она смеясь.

— Мне сегодня хочется кутнуть.

— Каким же образом?

— В ресторане.

— В самом деле? Ты, наверно, нашел клад, Дурды?

— Я целый час дожидался тебя на остановке, чтобы пригласить.

— А что за повод?

— Просто так. Мне приятно быть с тобой.

Эне засмеялась, слегка откинув голову.

— Считай, что я тебе поверила — принимаю твоё приглашение. Только, если уж ты дожидался меня час, думаю, достанет у тебя терпения еще на несколько минут? Я забегу в общежитие — переоденусь и возьму денег.

Я прижал руки к груди и склонил почтительно голову. Энегуль улыбнулась и, легко взбежав по ступенькам, исчезла в подъезде общежития.

Энегуль, да и я сам тоже, были очарованы, попав в эти светлые, высокие, залитые потоками дневного света хоромы. Из зала доносилась приглушенная массивной дверью джазовая музыка.

Я впервые был в ресторане, но старался сделать вид, будто все мне давным-давно знакомо и нисколько не волнует. Мы сдали пальто в гардероб, я взял Энегуль за руку и повел в зал.

— Какими прожигателями жизни мы, должно быть, кажемся! — шутила Энегуль. — Узнает отец, достанется же мне! Зато буду утешаться, что хоть разочек была в ресторане. И не с кем-нибудь, а с тобой, правда, Дурды? За такое удовольствие я согласна любую трепку получить.

Я отворил перед ней дверь. На нас хлынули, как разлившийся весенний поток, звуки музыки. Несколько пар танцевали между бледно-зелеными, в орнаментах колоннами, что устремлялись вверх, поддерживали расписанный, будто ковер, потолок. Старинные люстры висели на позолоченных цепях прямо над нашей головой — роскошные, блестящие, с висюльками словно из чистого речного льда.

Я заметил слева в углу свободный столик.

Сигаретный дым висел в воздухе призрачным голубоватым туманцем, щекотал в горле, смешивался с ароматом шашлыков, плова, жареной дичи и букетом дорогих туркменских вин и коньяков.

На нашем столике, накрытом белой крахмальной скатертью, алел в хрустальной вазе букетик гвоздик. И так повеяло от них нашей степью, что сладко защемило сердце. Энегуль взяла цветы ладошками и понюхала.

— Люблю гвоздики, — сказала она с грустью. — Они не навязывают своего запаха, пахнут целым лугом, на котором много цветов...

— Знаешь, Эне, мы начинаем думать одинаково, — сказал я смеясь. — Я тоже вспомнил степь, аул...

На небольшой низенькой эстраде заиграл джаз. Саксофон

с подвываниями выводил какую-то сентиментальную мелодию. К микрофону, мягко ступая, приблизилась маленькая и тонкая женщина с волнистыми золотыми волосами, падающими на плечи. Платье плотно обтягивало ее фигуру и сверкало будто серебряная чешуя. Женщина запела низким грудным голосом.

К нам подошла официантка с блокнотиком.

— Ты заказал столько, будто целую неделю не ел, — рассмеялась Энегуль, послушав меня, и обратилась к официантке: — А мне, пожалуйста...

— Выходит, тебе даже мало того, что я взял...

— Ты же заказал себе...

— Нет, нам обоим.

Энегуль почему-то смутилась и густо покраснела:

— Я хочу заказать сама. У меня у самой есть деньги.

Официантка, видно, поняла, что Энегуль впервые в ресторане, и заметила с улыбкой.

— Кавалер вас угощает, девушка. Так принято...

— Никакой он мне не кавалер, — возразила Эне, краснея еще больше. — Просто однокурсник.

— Ну вот и хорошо! Однокурсник тоже может угостить свою барышню, — сказала официантка и, закрыв блокнотик, торопливо ушла.

Вскоре наш столик был заставлен яствами.

— Я пью за тебя, Эне.

— А я за тебя, Дурды.

В середине зала на небольшой площадке несколько пар медленно танцевали танго. Я вспомнил, как задорно плясали наши парни в ауле по вечерам под дробь депа, хлопанье в ладоши и одобрителные выкрики собравшихся. Зазвени сейчас депа, я бы тоже, наверное, пустился в пляс. А всякие танго-манго-вальсы я не умею танцевать. Но все же в такт музыке тихонечко притопывал под столом ногой. Мне стало весело. А чего тужить? Тем более что рядом самая красивая девушка на всем нашем курсе... Я снова наполнил рюмки.

Поймав мой взгляд, Эне улыбнулась. Стало теплее на душе от ее светлой улыбки.

Кто-то легонько коснулся моего плеча. Я обернулся и увидел парня значительно старше меня, в черном костюме, с холеными усиками под крупным носом.

— С вашего позволения я хочу пригласить даму на танец, — сказал он и скользнул масляными глазами по Энегуль.

Мне не понравилась ухмылка этого парня.

— Я не танцую, — вставила Энегуль быстро.

— Тогда вы многое теряете, — сказал парень, присаживаясь рядом с ней на свободное кресло и положив руку на спинку кресла Эне. — Без танцев не понять всех прелестей жизни... Мне показалось, вам не очень-то весело. Будучи от природы наблюдательным, я заметил ваш тоскливый, ищущий взгляд и... решил пригласить к нашему столу. В нашей компании как раз не хватает одной девушки. Именно такой красавицы, как вы. — Незнакомец вместе с креслом ближе придвинулся к Энегуль, наклонился к ее лицу.

— Нет, нет, что вы, — приговаривала Эне, отстраняясь и побледнев.

— Ваша красота стоит красивой жизни... — продолжал парень.

В зале и так было не слишком прохладно, а теперь мне сделалось жарко. По вискам словно били маленькие молоточки. Опершись о стол, я приподнялся и дернул парня за рукав:

— Эй, ты! Послушай!..

Он, даже не взглянув в мою сторону, хлопнул меня по плечу — я с маху опустился на свое кресло. С ужасом почувствовал, что ноги едва меня держат.

— Послушай, отойди от девушки! — сказал я громко и снова дернул его за рукав.

Парень обернулся, поправляя манжету, и впился в меня мутным взглядом. Презрительно выпятив нижнюю губу, бросил:

— И таких дикарей стали пускать в ресторан?

— Если не уберешься от нашего стола, познакомлю твою

башку вот с этой бутылкой, — предупредил я и, приподнявшись, взял со стола бутылку.

— Во-первых, к незнакомым людям надо обращаться на «вы», молодой человек. А во-вторых...

— Я уже знаком с такими типами, как ты. Проваливай! Лицо незнакомца стало жестким. Он медленно, не вставая с места, протянул руку и схватил меня за ворот. Я машинально замахнулся. Энегуль вскочила, опрокинув кресло, испуганно расширила глаза... Я почувствовал, что кто-то крепко схватил мое запястье, взял из руки бутылку и поставил на стол. Парень выпустил мой ворот.

— Шмель, ты опять делаешь глупости, — спокойно, хрипловатым голосом журил носатого подошедший мужчина. — Ступай на место, Шмель. Прохладись шампанским. Или тебе придется уйти отсюда.

— Он первый начал твкать, Художник.

— Сказано — ступай. Не привлекай внимания.

Носатый кивнул, послушно направился к своему столу.

Мужчина быстро поднял кресло Энегуль, учтиво предложил:

— Садитесь, пожалуйста, — и опустился на место, где до этого сидел его приятель. — Извините нас, ребятки. Он у нас дебошир. Как проглядишь, обязательно ссору затеет. Я не спускал с него глаз, когда он к вам подошел. Да только вы так хорошо сперва беседовали — и вдруг за бутылку. Ай-яй-яй, не годится! — Он укоризненно покачал головой.

Мне стало не по себе оттого, что этот широкоплечий крепыш внимательно разглядывал меня — будто изучал. Его вьющиеся волосы зачесаны были назад, несколько черных колечек прилипло к потному лбу. Он загадочно улыбнулся, просунул указательный палец за воротник и оттянул малиновую «бабочку» в крапинках, которая, видно, была тесной для его мощной шеи.

— У вас, наверное, какой-нибудь радостный день, а этот нахал вам настроение испортил? — участливо спросил он.

— Правда! Сегодня очень радостный день для нас. Стипендию дали, — сказала Энегуль, смеясь.

— Ай-яй-яй, бить вас некому. А растратите стипендию, тогда как?

— Выкрутимся, — сказал я.

— «Выкрутимся...» Хм! Так-так! Какой легкомысленный народ теперешняя молодежь! «Выкрутимся!» Ха! Нет чтобы сказать, заработаем, раздобудем где-нибудь денег!..

— Работой не брезгуем, — заметил я. — Была бы работа.

Он вынул из кармана пачку сигарет. Предложил мне. Я неумело закурил.

— Знаешь, студент, ты мне нравишься, — сказал он, откинувшись на спинку кресла и закинув ногу на ногу. — Я люблю отчаянных парней вроде тебя, таких, которые не боятся хорошей работы. А студенту заработок никогда не мешает, верно?

— Конечно, — согласился я.

Он вырвал из записной книжки листок и, написав на нем номер телефона, протянул мне.

— Если будет туго с финансами, позвони мне. Спросишь Самата. Художника. Дам взаймы. А может, и подходящая работка найдется. Адью! Меня зовут.

Художник поклонился Энегуль, мне пожал руку и ушел.

Я налил себе еще коньяку.

— Может, хватит тебе? — остановила Эне.

— Верно. Хватит.

Я отодвинул рюмку и подозвал официантку.

Когда мы надевали пальто, к нам подошел Шмель и извинился за свой поступок. Отвесив поклоны Энегуль и мне, он вернулся в зал. Я понял, что это Художник его послал. В душе я, конечно, доволен был, что не успел оглушить носатого бутылкой. На этот раз он мне показался даже симпатичным.

Мы ехали в троллейбусе, потом шли пешком. Я взял Энегуль под руку, но она отстранилась.

— Ты высокий, мне неудобно так идти, — объяснила она.

— Привыкай, ведь живешь в городе, — обиделся я.

— Ты уже возомнил себя столичным?

— Разумеется. Однако будь у меня право, я бы столицу перенес в свой аул.

Энегуль рассмеялась:

— Ну вот видишь, свой аул ты все-таки любишь больше.

— Еще больше люблю Ашхабад. Потому что здесь живет девушка Энегуль.

Эне нахмурилась:

— Ты заговариваешься, Дурды. Я не люблю всяких несерьезных намеков и недомолвок.

Я положил ей руку на плечо и притянул к себе:

— Хорошо, не буду намеками. Скажу прямо. Ты мне нравишься, голубушка. Давай поцелуемся.

Эне сбросила с плеча мою руку и пошла быстрее. Я догнал ее и схватил за локоть.

— А разве я тебе не нравлюсь, скажи?

— Оказывается, ты не такой уж безобидный, как кажешься на первый взгляд. Если бы я тебя знала таким, ни за что бы не пошла...

— А мне почему-то казалось, что я тебе нравлюсь...

— Ну и что ж, что нравишься? Как сокурсник нравишься, как брат! Мне казалось, ты скорее можешь вступиться, чем обидеть!..

— Постой-ка, а чем я тебя обидел?

— Говоришь всякий вздор. У меня ведь парень есть. Друг. Сейчас в армии служит. После службы приедет в Ашхабад учиться. Мы с ним обещали ждать...

Для меня эта новость была как гром с ясного неба. Я остановился и несколько минут, не находя слов, растерянно разглядывал Энегуль.

— Вы уже просватаны? — спросил я.

— Нет. Отец хотел меня выдать за другого. Я уехала в Ашхабад.

— А почему тогда ты пошла со мной в ресторан?

— Так. Пошла — и все. Из любопытства. Наслышалась о нем столько, а ни разу не была. Посмотреть хотелось.

— Верно говорят, что женщиной движет любопытство.

— А ты думал, пошла с тобой — значит все? Целоваться можно? Теперь даже с тобой никуда не пойду.

Мы долго шли не разговаривая. Изредка проезжали машины, громыханьем своим и светом фар нарушая покой сонного города. Земля уже побелела, снежок мягко похрустывал под ногами. Энегуль сделалась похожей на снегурочку. Я посмотрел вверх, и мне тотчас глаза залепило снегом.

— А вы переписываетесь? — спросил я.

— Он пишет часто.

— А ты?

— Иногда бывает некогда... Но все равно стараюсь отвечать на каждое письмо.

— Если девушка долго не пишет — значит, разлюбила? — задумчиво спросил я.

— Какой ты наивный, Дурды. Конечно, нет!

— А если вовсе не пишет?

Энегуль приостановилась и, взявшись за мою пуговицу, пристально посмотрела мне в лицо. Понимающе улыбнулась.

— Ясно, почему тебе захотелось сегодня выпить... Только я бы на твоём месте сначала выяснила причину, почему она не пишет. Прежде чем объясняться другой девушке...

Я подумал, что Энегуль, пожалуй, права. И смолчал. Я поймал себя на мысли, что весь этот вечер — и когда разговаривал с Эне, и когда слушал музыку, глядя на танцующие пары, и даже когда ругался с тем типом, — Донди ни на минуту не выходила из головы. Мне нравилась Энегуль потому, что напоминала Донди. Она очень была похожа на Донди.

Пришлось долго стучаться в парадную дверь, пока вахтерша впустила нас в общежитие.

В нашей комнате все спали. Я разделся, не зажигая света. Несмотря на усталость и хмель в голове, сон не приходил. По улице изредка проезжал автомобиль, высвечивая верхний угол нашей кельи. Я вспомнил, как, спрятавшись в зарослях джиды на берегу канала, я мигал в окно Донди карманным фонариком — звал ее на улицу... Засыпая, я подумал, что завтра напишу ей еще одно письмо. Последнее...

ДОБРОТА

Наконец-то каникулы! Я еду домой. Не еду, а лечу. На самолете. Оказывается, это здорово — лететь на самолете. Не успел я дочитать рассказ в «Огоньке», как наш «кукурузник» коснулся земли, подпрыгнул и покатился по накатанной дорожке. Всего каких-нибудь полтора часа назад я расхаживал по улицам Ашхабада, а уже очутился в нашем райцентре — сказка тысячи и одной ночи.

Через рыжую степь тянулась серой лентой пыльная дорога, так и не заасфальтировали, а ведь еще два года назад собирались... Слева в горячем желтом мареве расплывчатыми пятнами виднелись дома райцентра и зеленовато-голубые зонтики деревьев над ними. Вокруг распласталась однообразная равнина — не на чем задержаться взгляду. Кое-где небольшими озерцами зеленела трава — солнце еще не успело изжарить всю. Вдалеке брело стадо овец, и чабан верхом объезжал вокруг, покрикивая.

Я увижу свой аул, когда взберусь вон на тот покатый холм, похожий на лежащего, разомлевшего от жары двугорбого верблюда. Дорога протиснулась как раз между его горбами. Помнится, ранней весной склоны холма покрывались тюльпанами, и как только спина «верблюда» заалеет, мы, мальчишки, прибегали сюда, чтобы нарвать цветов для учительницы. Разувшись и закатав штаны выше коленей, старались бежать посередине дороги, где было побольше пыли. Ноги по

щиколотку проваливались в горячий, мягкий, как пух, слой пыли, и нам это нравилось. Ветер уносил далеко в степь рыжее облако, поднятое нашими ногами.

Зато на обратном пути, дойдя до канала, мы раздевались донага и тщательно отряхивали одежду. Потом купались, положив пока цветы корешками в воду.

Наша учительница, хоть и приехала из города, очень любила полевые цветы. Мы знали это — всякий раз она искренне радовалась нашим тюльпанам, совсем как девчонка.

Стало трудно идти — дорога взбиралась на подъем. Зато когда она пошла под уклон, показались вдали густо-зеленые кроны шелковиц и пепельно-серые ветлы вдоль канала, а за их прозрачной сенью желтовато-розовые стены нашего аула. От канала повеяло прохладой, и ноги сами зашагали быстрее.

Жаль, что я сейчас не могу раздеться у канала, отряхнуть одежду и голышом плюхнуться в воду! Мои светло-коричневые брюки запылились и обрели мышиный цвет. А ведь я прибыл из столицы — все будут с любопытством оглядывать меня. Нет, нельзя в таком виде появиться в ауле. Я забрался в заросли тальника и привел себя в порядок, умылся из канала теплой, как парное молоко, водой, отряхнул пыль с одежды, причесал волосы: теперь у меня была модная прическа с пробором. Поглядев в воду, как в зеркало, я выбрался из тальника.

Я нарочно сделал крюк, чтобы перейти канал не по мосту, а по плотине, откуда был виден дом Донди. Минуя знакомые облупившиеся зеленые ворота, я замедлил шаги. Сердце то замирало, то готово было выскочить из груди. Думал — может, увидит меня в окно Донди, выбежит на дорогу. Но ни один засов не громыхнул на воротах, ни души не было видно вокруг, тишина в ауле. Только воробьи расшумелись в шиповнике у канала: видать, не поделили оставшихся с осени ягод, да в чьем-то дворе закудахтала наседка. Я, конечно, понимал, что все аульчане сейчас в поле, на работе, а те, кто остался дома, попрятались от зноя и не выйдут на улицу, пока солнце не соскользнет к закату.

Я еще раз внимательно обвел взглядом ворота, забор, дом, похожий на мрачный замок. Во многих местах осыпалась штукатурка, на стенах желтые потеки после дождей. Дом показался мне каким-то постаревшим и пригорюнившимся.

Миновав высокий серый забор Торе-усача, я увидел нашу приземистую мазанку и пошел быстрее. С лица нашу лачугу чьи-то заботливые руки аккуратно выбелили. Наверное, мама постаралась перед моим приездом. Интересно, где сейчас она, моя мама? Скорее всего в детском саду, на работе. Оставляю чемодан и сразу помчусь к ней...

Я пересек наш дворик и опустил чемодан на землю, отряхнулся, поправил кепку, вытер с лица капельки пота и отворил дверь. Из комнаты повеяло прохладой. Но после яркого полуденного света мои глаза не могли сразу привыкнуть к полумраку: окна были завешаны одеялами, чтобы не пропускать жары. Я почувствовал, что в доме кто-то есть, и окликнул радостно:

— Здравствуй, мама!

Кто-то вскрикнул тоненьким голоском «Ой!» — и мне навстречу из второй комнаты метнулась худенькая девушка.

— Эджегыз! Как ты изменилась! — Я обнял и закружил свою сестренку по комнате. — Тебя и не узнать, так ты выросла.

Через раскрытую дверь я заметил маму. Она лежала на матраце, постланном в углу своей комнаты. Широко раскрытыми, полными радости глазами смотрела на меня и, сбрасывая с себя груды ватных одеял, пыталась подняться. У меня опустилось сердце. Я оставил Эджегыз и бросился к маме. Покрывая поцелуями ее запавшие и желтые, как воск, щеки, покрытый морщинами горячий лоб, я бормотал, едва удерживая слезы:

— Что с тобой, мама? Ты болеешь, да? Почему мне не написали? Я бы приехал раньше...

— Не хотелось тебя беспокоить, сынок. Ведь ты сдавал экзамены...

— А что с тобой?

— Ничего страшного. Занемогла вот. Пройдет, — сухим хрипловатым голосом, глядя меня по голове и улыбаясь, говорила мама.

Эджегыз подложила ей под спину еще подушку, чтобы удобней было сидеть. Я опустился на краешек матраца и, не переставая, гладил мамину бледную руку, перебирал натруженные пальцы, ставшие тонкими и длинными от худобы.

— Ты, наверное, давно болеешь?

— Мама заболела скоро после твоего отъезда, — ответила за нее Эджегыз.

— Почему же ты мне не написала?

— Мама не велела.

— У меня ведь тогда не было экзаменов!

— Учеба — это ежедневный экзамен, сынок, — сказала мама. Дышала она часто, с трудом. — Все думала, поправлюсь до твоего приезда. Да видишь, как обернулось...

Потемневшие и углубившиеся глаза мамы неестественно блестели. Наверно, от высокой температуры.

— А как твое здоровье, сынок?

— Крепок, как чинара.

— Слава богу. А учеба?

— Все экзамены сдал успешно. Всего одна четверка помешала, а то бы зачислили на повышенную стипендию.

— Молодец, сынок, — сказала мама грустно и поднесла к глазам уголок платка. — Жаль, отец не видит, каким ты стал. Как бы он теперь порадовался! Мечтал сделать из тебя ученого...

Мы помолчали, думая о нашем отце. Потом мама захотела встать.

— Ты, наверно, проголодался с дороги. Я приготовлю тебе твою любимую чорбу.

Мы с Эджегыз уговорили ее лежать.

— Я все приготовлю сама, — успокаивала ее сестрен-

ка, — а ты — вот спадет температура, тогда и встанешь. Переоденься пока...

— Ладно, — согласилась мама. — Мой сынок приехал, теперь я поправляюсь. А пока ты поухаживай за братом, доченька. Ведь он давно не ел ничего вкусного, домашнего.

Эджегыз достала из сундука сухое белье и подала маме. Затем пошла в летнюю кухню и начала стряпать.

— Спасибо твоей сестричке, — сказала мама. — Я и не заметила, как она подросла, стала умницей. Не отходит от меня. Говорю ей: «Иди поиграй с подружками, пойдешь на лужок, погуляй». Она — нет. После школы бежит домой... Байрам целыми днями на работе. Мы вдвоем с ней и коротаем время... Утром она мне растерла спину молодым подорожником — и сразу вроде бы лучше стало. Рука у нее легкая. Говорит: «Буду врачом». Бог даст, тоже пойдет учиться. Скорее бы мне только подняться на ноги, тогда и вам легче станет.

— Поднимешься, мама, скоро поднимешься.

Пока Эджегыз чистила картошку и морковь для чорбы, я достал из-под сундука топор и вышел во двор, чтобы наколоть дров. Сухие, жесткие ветки саксаула, скрюченные, словно жилы чудовища, кололись плохо. Да и движения мои стали неверными, острое топора не попадало в нужное место — надо же, разучился работать. Пришлось повозиться. Бросив у печки охапку нарубленных дров и удостоившись благодарного взгляда сестренки, я возвратился в комнату. Мама стояла у раскрытого шкафа с посудой и вытирала тряпичкой пиалушки.

— Мама, зачем же ты поднялась? — испугался я.

— Сынок, ты же сам всегда говорил, что лучше твоей мамы никто не умеет заваривать кок-чай.

Пришла Эджегыз и стала растапливать плиту.

— Ты что делаешь? Зачем летом топить в комнате? — удивился я.

— Маме все время холодно, ее знобит. Мы раз в несколько дней топим, чтобы в доме не завелась сырость.

Вскоре чайник на плите весело зашумел, крышка на нем задребезжала, заплясала. Я вынул из шкафа наш пузатый фарфоровый чайник, которым мы обычно пользовались, когда приходили гости, и насыпал в него щепотку заварки. Но подошла мама и взяла чайник из моих рук.

— Посиди, сынок, отдохни с дороги. Позволь мне поухаживать за тобой. Я ведь так по тебе соскучилась.

Она высыпала на ладонь заварку из чайника, вынула бумажную пробку, которой был заткнут его носик, чтобы туда не заползали тараканы, ополоснула чайник кипятком внутри и снаружи, потом протерла мягкой белой тряпичей.

Такой уж была наша мама. Я не помню, чтобы у нас когда-нибудь накапливалась немытая посуда. Ведра с водой всегда были покрыты чистой марлей. Она и Эджегыз приучала к аккуратности.

Заваривание чая требовало особого умения, поэтому мама взялась за дело сама. И правда, я пил такой вкусный, ароматный чай только дома, когда его заваривала мама. И пиалушки расставлялись перед гостями лишь после того, как проходили через мамины руки. После этого можно было быть уверенным, что они стерильны.

Наконец мама постлала на кошке длинную полосатую скатерку, и мы сели по разные ее стороны.

— Иди, дочка, и ты попей чаю, пока сварится чорба, — позвала мама Эджегыз, возившуюся на кухне.

Сестренка вошла, вытирая кулачком слезившиеся от дыма глаза, присела на кошку рядом со мной и прижалась щекой к моему плечу. Я был полон нежности к ней и ласково обнял ее. Я успел понять, что на ее долю выпадает теперь много забот — наверно, даже уроки приготовить не всегда хватает времени. Вслух я ничего не сказал, чтобы не расстраивать маму: она, видно, сама понимала все это и горевала молча.

Вспомнив про гостинцы, я открыл чемодан, вынул из него

прозрачный и желтый сахар — нават, две пачки сливочного печенья, которое любила моя сестренка, янтарную брошь для нее. Мама очень обрадовалась навату. Она и прежде могла вприкуску с этим сахаром выпить целый чайник чаю и не напиться досыта. И всегда говорила, что нават особенно полезен для пожилых людей.

— Зачем ты тратился, сынок? Не надо было, — сказала мама. Но по ее ласковому взгляду я понял, что она довольна моими гостинцами.

Эджегыз хрумкала, как кролик, откусывая столичное печенье. Спohватившись, она выбежала на улицу и через несколько минут принесла на блюде мясо. Мама положила в чашу несколько кусков горячего жареного мяса, налила сверху чай и придвинула ко мне. Я отломил кусок лепешки, накрыл ею касу и с нетерпением стал дожидаться, пока лепешка размякнет от душистого пара. Я целый год не ел домашней чай-чорбы.

У мамы совсем не было аппетита, она нехотя откусывала кусочки лепешки. Заметив, что я смотрю, как она с трудом ест, виновато сказала:

— Не обращай внимания на меня, сынок. Мы с Эджегыз перекусили перед твоим приходом.

Я ел торопливо, низко наклонившись над касой. Мама очень внимательно разглядывала меня, словно старалась понять, насколько я изменился. Мне самому казалось, что я такой же, как прежде. А мама задумчиво сказала:

— Ты очень повзрослел, сынок. Хотелось мне дожить до твоей свадьбы... — и, не договорив, скорбно прикрыла рот уголком платка.

— Ты непременно увидишь мою свадьбу, — утешал я, стараясь казаться веселым. — Уж я постараюсь.

— Дай бог, — пожелала мама. — Только бы невеста нашлась достойная тебя. Выбирай, сынок, девушку, чтобы она была дочерью порядочных родителей. Ведь каждому известно, что яблоко от яблони не далеко катится.

— Мама, а как мне узнать анкетные данные родителей моей будущей невесты? — спросил я, засмеявшись.

Мама нахмурилась.

— Ты, сынок, уже сам научился думать. Черное от белого отличить можешь... Друзей и врагов нашей семьи знать должен.

Помолчали. Мне почему-то не хотелось продолжать разговор на эту тему. Я стал рассказывать про Ашхабад, про моих друзей, расспрашивать об аульных новостях, о знакомых.

Эджегыз свернула скатерку. Мама поднялась с трудом.

— Пойду полежу немного, — сказала она. — Устала. А ты прогуляйся. Наведайся к соседям, друзьям. Они, должно быть, уже возвратились с работы. Сейчас и Байрам придет, если где-нибудь не задержится...

Я вышел во двор. Солнце уже село. Стало прохладно. Я хотел повидать учителя Чары, поговорить с ним, поделиться впечатлениями. И еще надо было придумать способ увидеться с Донди. Но перед глазами стояло ласковое и больное лицо моей мамы. Казалось, в любую минуту она может меня позвать. Из-за этого пропало желание уходить со двора.

Я присел на топчан под шелковицей, росшей у нас во дворе. Через низкий забор я мог видеть всех, кто пройдет по улице. Вот чей-то мальчишка прогнал небольшое стадо овец, взлохматив облако пыли над улицей. Я сидел неподвижно и припоминал наши редкие встречи с Донди, время от времени поглядывая в сторону их дома. Жаль, не видать окон; интересно, зажегся ли в них свет? Я вспомнил мамин совет выбрать благородную девушку. Знает ли она про наши отношения с Донди? Или просто так, случайно заговорила об этом? Налетел прохладный ветерок, я зябко повел плечами.

Неслышно подошла Эджегыз, присела рядом со мной. Молчала, опустив аккуратно причесанную головку. Косы, мягко изогнувшись, сползли с ее худых плечиков на грудь. Задумалась о чем-то.

— Как твоя учеба, Эдже? — спросил я.

— В восьмой класс перешла отличницей, — сказала она, улыбнувшись, и посмотрела на меня. — А ты как поживаешь, брат?

— Отстал от тебя. На экзаменах получил четверку.

— Если тебе совестно, это уже хорошо.

— Как поживает Чары-мугаллим? Ты его видишь?

— Иногда вижу. Недавно болел.

— Что с ним?

— Все то же. Осколки в бедре покоя не дают.

— С самой войны мается. Хорошо еще, не старый — сила есть перебороть болезнь.

— И наша мама не старая. Как ты думаешь, она выздоровеет?

Мне словно иглу вогнали в затылок. Я резко обернулся к ней:

— Почему ты об этом спрашиваешь? Кто на свете не болеет? Конечно, наша мама скоро выздоровеет!

— Байрам-ага приглашал из райцентра врача. Он сказал, что у мамы серьезная болезнь. Просил не оставлять ее одну. Мы не сказали ей.

Над головой с противным тонким писком вились комары. В соседних дворах слышались голоса, звякали подковы, замычал теленок. Ветерок принес откуда-то запах жареного лука и мяса: люди, вернувшись с работы, готовили ужин.

— Ты ничего не хочешь мне сказать, Эдже? — спросил я.

Она молча вынула из кармашка кофточки сложенные пополам письма, протянула мне. Те самые письма, что я посылал Донди!

— Тебя интересует это? — спросила она.

— Почему ты их не передала? — закричал я, выхватив письма из рук Эджегыз.

— Мама не велела.

— Почему?

— Донди просватали в день твоего отъезда.

— Все равно ты должна была передать ей мои письма!

— Мама сказала, что, если бы даже Донди была свободной, она не стоит тебя.

— Мне лучше знать, кто стоит меня! Я тебе доверился, ты должна была передать эти письма!

— Не сердись, Дурды-ага. Я даже пыталась их передать. Я все время их носила с собой. Думала — увижу Донди, передам. Но отец держал ее взаперти и не выпускал на улицу. Боялся, что она снова убежит и на этот раз он не сможет ее найти...

— Она разве убегала из дому?

— Да, ты же ничего не знаешь!.. Когда Донди просватали, она убежала из дому. Хотела направиться в какой-то дальний аул, к родственникам. Но заблудилась. Двое суток ходила по степи. Представляю, чего натерпелась, бедняжка... Ее отыскали бесчувственную и привезли домой. С той поры Торе-усач и держал ее взаперти, пока не справили свадьбу.

Словно обухом трахнули меня по голове. Мысли перепутались. Меня душила злость. Я не думал даже, на кого злюсь больше: на Торе-усача, на Донди или на Эджегыз... А Донди-то! Она ведь обещала не сдаваться! Обещала ждать меня...

— Давно была свадьба? — спросил я и сам не узнал своего голоса.

— Месяца через два после твоего отъезда.

— Почему не написала мне об этом?

— Мама сказала, что не стоит тебя расстраивать.

— Как мне теперь верить вам, если вы не сообщили о том, что мама болеет, что Донди давным-давно замужем?..

— Это мама от доброты... Мы не хотели огорчать тебя. Считали, может помешать учебе...

— А теперь мне легче от вашей доброты? Или вы рассчитывали все это и теперь скрыть от меня?

Эджегыз шмыгнула обидчиво носом. Посидев еще немного, ушла. Я сидел оглушенный услышанным. Наверно, у человека, падающего в пропасть, настроение бывает лучше: он еще может рассчитывать, что его одежда зацепится за сук, или он

упадет в мягкий, как пух, сугроб снега, или его примут упругие волны реки. У меня никаких надежд не осталось. Донди оказалась потерянной навеки. Я готов был взвыть, как раненый шакал. Кто в этом виноват? Кто?..

Я не заметил, как вернулся с работы Байрам.

— А, с приездом, братец! — окликнул он меня, и я вздрогнул от его громкого голоса.

Байрам с головы до ног был в белесой пыли. По его осунувшемуся лицу заметно было, как он устает. Подойдя ко мне, брат протянул широкую жесткую руку. Я сжал ее обеими руками. Потом мы обнялись.

— Осторожней, горожанин, как бы тебя не испачкать, — смеялся Байрам.

Эджегыз заторопилась на кухню согреть для старшего брата воды. Байрам взял меня за плечи и повернул кругом.

— Ну-ка, ну-ка... Вырос. Возмужал. Рассказывай, какие новости привез из Ашхабада.

Пока Эджегыз готовила ужин, мы с Байрамом сидели на топчане и беседовали. Четыре месяца назад сместили с должности прежнего председателя колхоза — занимался подозрительными махинациями. Из-за его же беспечности зимой пало много скота. Овцеводы трудились не покладая рук, а заработали жалкие гроши против обычного. Зато председатель отгрохал себе такой домище, каких в райцентре не сыскать. И всех родственников обеспечил стройматериалами. Совсем зарвался председатель Ходжегельды, с членами правления перестал считаться. А колхозники, не будь дураки, подали на него в суд. Спасибо молодежи колхоза, комсомольцы проявили инициативу. Говоря по чести, мало кто верил в их затею. А дело вон как обернулось... Избрали нового председателя. Из нашего аула, Дидара Корпеева, хоть молодого еще совсем, зато с образованием. Я знал его. Когда еще я учился в школе, Дидар часто приходил в наш школьный сад и давал ребятам советы. Его сутуловатую фигуру часто можно было увидеть на хлопковом поле, у костра на пастбище. В позапро-

шлом году вернулся Дидар в свой аул, закончив Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. По рассказам Байрама, колхозные дела теперь стали налаживаться. Да и сам Байрам стал заметной персоной в колхозе: всего неделю назад его назначили заведующим овцеводческой фермой.

— Только не учись работе у Торе-усача, — пошутил я.

— Я у него учусь, как не следует работать, — ответил Байрам.

Он вздохнул и долго молчал, задумавшись. Потом глухо проговорил:

— Сам видишь, братец, болеет наша мать тяжело. То работала — ни на минутку не присядет, бывало. И на тебе — неожиданно слегла...

Эджегыз, вытирая кулаком слезящиеся от дыма глаза, позвала из кухни:

— Идите ужинать. Я все уже приготовила. Сейчас принесу.

Я полил Байраму из ушата теплой воды. Он умывался, раздевшись до пояса, широко расставив ноги, чтобы не забрызгаться. Эджегыз подала ему свежее полотенце. Мы направились в дом.

Мама сидела на матраце в своем бордовом атласном платье, которое надевала только по праздникам. Голову повязала черным платком в желтых и голубых цветах. Я этот платок прислал ей из Ашхабада, когда получил первую стипендию.

Байрам, давно уже не видевший маму сидящей, радостно воскликнул:

— Ого, мама, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить! Наверно, давно следовало вызвать Дурды, чтобы поднять тебя с постели. А мы, дурни, опытных врачей зовем.

Мама улыбнулась и ласково посмотрела на меня.

— Дурды-джан — мой младшенький сынок. Увидела, что он крылья отрастил, что крепко они его держат, — от радости и легче стало.

Чтобы не обидеть Эджегыз, я не подавал виду, что ем через силу. У меня исчез аппетит. И вообще я чувствовал себя неважно, будто мамина болезнь передалась мне. О если бы это было возможно! Я бы отобрал у мамы болезнь всю без остатка: ведь мой организм моложе и сильнее, я бы легче справился с недугом.

Выпив после ужина крепкого зеленого чая, Байрам сказал, что в правлении назначено собрание. И ушел.

МЫ ТАК НЕДОЛГО ЖИВЕМ...

Промелькнуло лето, будто один день. Приближался срок моего отъезда. Я перевиделся со всеми друзьями и знакомыми. Со всеми, кроме Донди. Нагулялся вволю по нашей степи, по садам. Чем меньше времени оставалось до конца каникул, тем больше не хотелось уезжать.

Каждый день кто-нибудь приходил провести маму. Боясь утомить больную разговорами, гости сидели недолго. Успокаивали как могли: «Не падай духом, сестра. Все люди болеют. Побольше ешь, поправишься...» Но, уходя, едва ступив за порог, качали печально головой и вздыхали: «Помоги, аллах, подняться ей на ноги». Эти слова, будто лезвие ножа, резали по самому моему сердцу.

В последние дни я как потерянный бродил по аулу. Несколько раз заходил в нашу школу, где недавно закончили ремонт и классы терпко пахли свежей краской. Наведался в клуб, увешанный теми же плакатами, что висели еще при мне, теперь пожелтевшими. Иногда сидел в одиночестве на берегу канала и бросал в прозрачную зеленоватую воду мелкие камешки, наблюдал, как стайки мелких рыбешек стремительно атакуют их, пока они не лягут на дно. Осенью, когда проходит пора поливок и никто не мутит воду кетменями, наш канал становится особенно чистым — так и манит раздеться, бросить-

ся с разбегу. Но сейчас у меня не было охоты ни нырять, ни плавать. Издали доносились громкие крики и взвизгивания ребятни, вода с шумным плеском разлеталась тысячами жемчужин, пронизанных солнцем. А моим любимым местом стала прохладная тень под пожелтевшей ивой, где я однажды ждал Донди. Но и там я не задерживался подолгу. Где бы я ни был, что бы ни делал, меня всегда тянуло домой; казалось, что маме в этот миг может что-нибудь понадобиться...

А от маминого внимания не ускользала даже малейшая перемена во мне. Она замечала, что с приближением дня отъезда я становлюсь все задумчивее, раздражаюсь из-за пустяков. И когда осталось всего четыре дня до начала занятий, она легонько вздохнула и сказала, погладив меня по голове:

— Сынок, пора тебе собираться. Как бы ты не опоздал на учебу. А приедешь в следующий раз, застанешь меня совсем здоровой.

Мама опередила меня. Я хотел просить ее, чтобы разрешила мне вовсе не ехать. Но меня беспокоило, что мама расстроится, и поэтому я молчал. И вот мама сказала свое слово.

— Мама, я поеду, когда увижу, что ты совсем выздоровела, — нерешительно возразил я.

— Если ты опоздаешь к началу занятий, я буду волноваться. От этого мне станет хуже, сынок. Поезжай спокойно. За мной Эджегыз и Байрам присмотрят.

Я не перечил маме. Лишь бы она оставалась довольной, лишь бы не причинять ей беспокойства. К тому же в последние дни мама стала чувствовать себя значительно лучше. Она уже часто вставала с постели, ходила по комнате, стояла, приоткрыв дверь, прислонясь плечом к косяку, — дышала свежим воздухом.

На следующий день я стал готовиться к отъезду. Эджегыз с утра выстирала мое белье и выгладила. Байрам сегодня

не пошел на работу. Он не поднимал на меня хмурого, задумчивого взгляда. Как старший, давал мне наставления. Мама сидела на матраце, подложив за спину две большие подушки. Она внимательно наблюдала, как Эджегыз укладывала мой чемодан, и напоминала, чтобы та не забыла положить разные мелочи. Мама велела завернуть мне на дорогу жареного цыпленка, вареные яйца, помидоры, несколько домашних чуреков. Всего этого мне и за неделю было не съесть, но коли уж мама так хотела, я не противился.

Байрам и Эджегыз вызвались проводить меня до самого райцентра, до станции. Мама вышла к порогу. Горячими ладонями взяв меня за голову, прикоснулась сухими губами к моим глазам. Сказала:

— Сынок, старайся учиться хорошо. Непременно получи образование. Твой отец мечтал об этом. И я этого хочу... Жизнь полна неожиданностей, сынок. Что бы ни произошло, знай: твоя мать хотела, чтобы ты стал сильным, мудрым и, главное, научился распознавать людей, нашел себе пару, достойную тебя, и шел с ней рука об руку всю жизнь. Пора детства миновала, сынок. Теперь ты взрослый. Думай. Не забывай ни добра, ни зла, которые нам довелось испытать. На добро старайся ответить добром. А на зло не злобствуй. Только знай, что оно есть. Что зла добром не отведешь.

Она еще раз поцеловала меня и легонько оттолкнула от себя:

— Ступай с богом.

Выходя из калитки, я обернулся. Мама глядела мне вслед и, поднеся уголок платка к глазам, вытирала слезы.

Я уходил из родного аула во второй раз. На сердце тяжелым камнем лежало дурное предчувствие... Гляжу ли с тойской на дорогу, серой змеей вползающую к горбам далекого холма, или окидываю взглядом нашу рыжую степь под лазурным небом, обернусь ли к домам родного аула, дрожащим в розовом предзакатном мареве и похожим на мираж, — всюду

вижу мамины большие серые глаза, желающие сказать мне так много, что не хватило бы на все и жизни. Если бы я знал, что сегодня вижу их, эти родные и близкие мне глаза, последний раз, — уехал бы я разве!..

Я вернулся в Ашхабад в тот самый день, когда начались занятия в университете. Ребята приехали намного раньше и ждали меня. Вечером, собравшись вместе, мы устроили маленький пир. Орунбай привез из дому баранью ногу. Садык не забыл о своих обязанностях и по старой привычке взялся готовить каурму. Меня отправили в магазин за вином. Когда я вернулся, из кухни уже разносился манящий запах жареного мяса.

Стол накрывал Ораз. Мы все сходились на том, что у Ораза тонкий вкус и что он украсит наше праздничное застолье как подобает. И не ошиблись. На нашем круглом столе, покрытом добытой где-то белой скатертью, стояла в банке целая охапка сентябрьских роз. Цветы были роскошные — пламенно-красные и нежно-розовые. Комнату нашу словно перенесли в благоухающий сад.

А вот и огород в миниатюре: на широком блюде аккуратно разложены огурцы, помидоры и лук. Рядом — стопочка слоеных лепешек, которые мне дала мама на дорогу.

Вскоре Ораз весь стол заставил всевозможными яствами — гостинцами, что навезли ребята из дому. Ни один стол в ресторане не мог бы сравниться с нашим.

Садык принес жареное мясо. Мы расселись. Выпили. Нами владело радостное чувство — наконец мы снова вместе и впереди целый год студенческой жизни. Ораз сходил к соседям и принес проигрыватель, поставил пластинку. Садык снова налил всем; мы встали, звякнули граненые бока стаканов...

На второй день мы поднялись поздно. И когда собирались в университет, мне принесли телеграмму. Дрожащими руками

я распечатал ее: «Срочно приезжай. Маме плохо. Б а й р а м». Сердце у меня упало. Я застыл на мгновение, потом метнулся к своей кровати, выдернул из-под нее чемодан и стал швырять в него необходимые вещи. Ребята, мрачные, стояли надо мной и молчали. Я схватил со стола несколько ломтей лепешки, оставшихся с вечера. Завернул в газету, сунул в чемодан — перекушу в дороге.

— Сегодня поезда в вашу сторону уже не будет, — сказал задумчиво Ораз.

Я взглянул на часы: самолет тоже улетел четверть часа назад.

— Я выйду на Анаускую дорогу. Может, доеду на попутной машине.

— Пошли. Мы проводим тебя.

Машины по Анауской дороге сновали взад-вперед, обдавая нас пылью и горьким запахом отработанных газов. Мы потеряли более часа, голосуя у обочины. Остановились всего два грузовика: они сворачивали в сторону на полдороге к нашему райцентру. От досады я еле сдерживал слезы. Казалось, весь свет восстал против меня. Я сел на чемодан, обхватил голову ладонями. Ораз положил руку мне на плечо:

— Не отчаивайся, браток. С кем не бывает. Может, еще все обернется благополучно...

Потеряв надежду остановить какую-нибудь машину, ругая отборными словами шоферов, подошел Орунбай.

— Знаешь, Дурды, — сказал он. — Я приехал в Ашхабад третьего дня на товарном поезде. Может, попробуешь?..

Я с благодарностью взглянул на него — я был готов ехать хоть верхом на осле, лишь бы поскорее добраться до дому, увидеть маму, которая, наверно, все глаза проглядела, дожидаясь меня.

Мы пришли на товарную станцию. Уже начало смеркаться. Никого здесь не было, кроме стрелочников и путевых обходчиков. У одного из них я узнал, что товарный поезд, который стоит на запасной ветке, отправится через полчаса. Все

Товарные поезда — за редким исключением — останавливались на нашей станции.

Мимо нас, сверкая сплошной яркой лентой освещенных окон, пронесся скорый поезд. Я с завистью проводил его взглядом. Он проскочит наш райцентр, не сбавляя ходу.

— Лучше бы на нем поехал. Там бы спрыгнул, — заметил я.

— И родная мать даже не узнала бы, что любимый сын спешил на ее зов, — ответил Ораз.

Звяканье буферов, нарастая, быстро приближалось вдоль состава. Мой товарняк тронулся. Я торопливо пожал руки ребятам и вскочил на подножку...

Через каждую четверть часа, а то и меньше, мелькали мимо зеленые и красные огни семафоров. Холодный ветер врывался в тамбур, пронизывал меня насквозь. Я сел на корточки, сжался в комок, поднял воротник куртки. А колеса вагонов дробно стучали, словно хотели успокоить меня. «Сейчас до-е-дем, сей-час до-е-дем...»

Не сбавляя скорости, поезд проскочил небольшую станцию — группу беленьких одноэтажных домиков и безлистных деревьев, неярко освещенных фонарями. Я не успел даже разглядеть название. И опять холодный мрак вокруг, чернота, в которой угадывался широкий степной простор.

Поезд остановился на какой-то станции. Я, кажется, немного вздремнул, не заметил, как в тамбуре появился человек в брезентовом плаще с башлыком, с фонарем в руках. Он направил на меня яркий луч и спросил по-русски:

— Кто здесь?.. Ну-ка слазь, пока не пришлось на ходу прыгать!

Я поднялся, с трудом расправляя отекавшие и озябшие ноги, и пролепетал:

— Я студент...

— Ну так что же, что студент! Студентов не касается разве установка, запрещающая ездить на товарных составах? Ну-ка слазь! Не то позову сейчас милицию, — пробасил же-

лезнодорожник, грозно надвигаясь и вытесняя меня из тамбура.

Я вынул из-за пазухи телеграмму и плачущим голосом проговорил:

— Мама... Телеграмму брат прислал...

Проводник посветил на телеграмму. Кашлянул в кулак. Потом вздохнул и стал спускаться по ступенькам, держась за поручни. Спрыгнув на землю, хмуро бросил: «Через две остановки — твоя станция. Не усни смотри, а то скатишься под колеса», — и медленно пошел к хвосту состава, шаркая по галечнику кирзовыми сапогами, посвечивая на колеса вагонов.

Я проснулся от резкого толчка. Состав, скрежеща колесами, тормозил. Две остановки уже были. Значит, эта станция — моя. Промелькнул и поплыл назад зеленый глаз семафора. Показалось знакомое здание из кирпича и низкий перрон. Я спрыгнул, не дожидаясь полной остановки поезда...

Я шел той самой дорогой, которой уходил всего два дня назад. Но какой она казалась теперь длинной! Я устал от быстрой ходьбы, в груди саднило, ноги стали какими-то чужими, хотелось сесть у обочины на сухую траву и отдохнуть хотя бы несколько минут. Но я боялся, что меня сморит сон. И я шел вперед, даже временами ускоряя шаги, будто меня кто-то подталкивал в спину.

Начинало светать... Сентябрь в наших краях обычно бывает ветреным. А сейчас стояла удивительно тихая погода. Ни одна былинка не шелохнется. Вдалеке слышен собачий лай. Уже близко. Вот уже доносится разноголосье лягушек в канале. Запахло кизячным дымом.

С замирающим сердцем вступил я в наш аул. Приземистые мазанки и деревья окутаны синеватым туманом. Еще не видать ни огонька. Только в нашем окошке желтеет свет. Зна-

чит, наши не спят. Вот скрипнула дверь. Во дворе темнеют силуэты людей. Кто-то сидит на топчане под шелковицей. Вполголоса разговаривают.

Мне показалось, что в доме кто-то плачет. Я тотчас узнал голос Эджегыз. И все понял. Дойдя до дверей, я замер у порога, прижавшись виском к косяку, где недавно стояла мама, провожая меня, глядя мне вслед. Из груди вырвалось сдавленно:

— Ой, мама моя...

Я очнулся, почувствовав на лице холодные брызги воды. Меня кто-то тормозил, приговаривая:

— Вставай. Нельзя же так. Ведь ты взрослый мужчина.

Я узнал по голосу Чары-мугаллима.

Мне подали табуретку. Я сел. При людях я старался держать себя в руках и не плакать. Мамина постель аккуратно прибрана. Мамы не было. Совсем не было... На целом свете. А мне все казалось, что вот сейчас я услышу ее голос: «Дурды-джан! Приехал, сынок? Здравствуй...» Разве может такое произойти, чтобы я приехал издалека и мама мне ничего не сказала? Ни словечка ласкового!..

Наступило утро. Такое же, как всегда. И уже не такое... Из степи налетел прохладный ветер. В шорохе листьев мне чудился шелест маминого платья. Она обычно вставала в это время, затыкала дымовое отверстие в потолке, чтобы мы не замерзли, и проверяла, хорошо ли мы укрыты.

В замочной скважине огромного, обитого разноцветной жестью сундука торчал ключ, словно мама только что доставала из сундука вещи. Всякий раз, когда мама открывала это хранилище почти всего нашего состояния, мне нравилось извлекать на свет и примерять расшитый хивинский халат моего отца и его белую мохнатую папаху. Мама весело смеялась, когда я исчезал вовсе, утонув в отцовой одежде.

— Тебе еще расти да расти, сынок, чтобы одежда отца стала впору, — говаривала она. — Получишь этот подарок на свою свадьбу.

Одежду умерших по обычаю развешивают на стенах. Не так-то много было нарядов у нашей мамы. Вон атласное бордовое платье, в котором она ходила в гости. Рукава свесились вниз, словно скорбят: «Кончились празднества для нашей хозяйки, не видать их больше и нам...» А вон на подушке с яркими петухами лежит платок, который я прислал из Ашхабада. Мама успела его надеть всего один раз, при мне.

На полке под потолком — пузатый фарфоровый чайник. Его носик, как всегда, аккуратно заткнут бумажной пробкой. Рядом увесистый глиняный кувшин. Всего несколько дней назад мама доставала из него мясо, чтобы приготовить мне чай-чорбу. Горлышко кувшина накрыто белой тряпичей, завязанной ее руками.

Я с трудом встал — словно свинцом налитое тело. Вышел из дому. Я брел вдоль улицы, сам еще не осознав куда. Солнце показало раскаленный край над горизонтом... Ноги принесли меня на кладбище. Оно очень большое, это кладбище. В несколько раз больше самого нашего села. Столько поколений покоится в этом городе мертвых! Пусть будет земля для вас пухом... Все могилы схожи одна с другой. Подле одних, в изголовье, воткнут острием вниз бычий рог, около других — просто палка.

Я долго блуждал между могил, пока не отыскал свежий бугор земли, с которого ветер еще не успел сдуть мелкого, как пыль, красного песка. У изголовья могилы торчала остроугольная длинная палка. На ее конце как флаг развевался белый клочок материи. В моем сознании никак не могло уместиться, что там, под этим малюсеньким холмиком, теперь покоится моя мама. Я ткнулся лицом в холодную землю и обхватил холмик руками: «Мама, зачем же ты ушла, не дождавшись меня! Не подождала, пока я оплачу тебе сыновним добром за твое добро!..» Посвистывал ветер, шевелил сухие былинки среди могил, да лоскуток похлопывал на палке.

Оборвалась моя надежда возратить маме хотя бы частичку того, что она сделала для меня. Я думал, закончу университет, стану работать и обязательно привезу маму к себе в Ашхабад. Я был уверен, что она согласится: ведь я у нее любимый сын. А если она не захочет переехать в город, сам приеду в аул и стану преподавать в школе. Где бы ни довелось мне жить, мама непременно должна быть со мной. Чтобы, когда ко мне придут друзья, я мог сказать: «Мамочка, чай будет?» А когда она подаст чай, спросить у гостей: «Вы когда-нибудь пили такой вкусный и душистый чай?..» И сейчас бы я к тебе пришел, мама, если бы ты меня впустила! Пусть пухом будет земля, в которой ты лежишь!

Я взял горсть земли и высыпал на могилу, отдавая последний сыновний долг.

7 — СВЯЩЕННОЕ ЧИСЛО

Со дня похорон минуло семь дней. За это время, по мусульманскому верованию, душа покойной достигла рая. С утра в нашем доме собрались люди на молитву. За день мулла несколько раз становился на колени и без передышки, по два-три часа кряду монотонно читал коран. Когда он, подняв глаза к потолку, громко произносил «А-аминь!» и проводил ладонями по лицу и бороде, собравшиеся повторяли за ним.

Потом соседки, которых Байрам попросил помочь, приносили угощения. Перекусив, попив чаю, люди снова углублялись в молитву.

К вечеру стали расходиться.

Мужчины, прощаясь, говорили скорбно: «Пусть бог покровительствует усопшей!» — и неторопливо направлялись к калитке. Женщины, облаченные в траурные черные одежды, уносили, придерживая на головах, узелки с поминальными чучеками.

Когда наш двор опустел, Байрам устало присел на топчан. Подозвал меня. Взъерошил мои волосы и сказал:

— Вытри слезы, братишка. Этим горю не поможешь. И плакали, и причитали. А никому от этого не легче. Мать не вернешь теперь. Надо нам быть мужчинами и думать, что никому не суждено остаться вечно в этом мире...

Я понимал, что Байрам хочет сказать: «Пора тебе уезжать. Как бы сейчас ни было, а отставать в учебе от сокурсников не к чему...» Байрам видит, как мне тяжело теперь покинуть наш дом, — вот и начинает исподволь... Я знал, что должен слушаться Байрама, он теперь в доме старший. Потупясь, я произнес невнятно:

— Ладно, Байрам-ага, я завтра уеду.

— Вот и хорошо. — Байрам похлопал меня по спине. — Мать завещала, чтобы ты окончил университет. А когда станешь образованным человеком, отдать тебе вещи отца. Отец тоже так велел перед смертью...

Байрам шершавой ладонью вытер мои мокрые щеки.

— Дурды, не будь мальчишкой. Думаешь, мне легче твоего? Но я знаю, стоит мне заплакать, вас с Эджегыз нельзя будет унять. Наши слезы затопят весь дом. Траур поселится у нас на веки вечные... Сейчас лучше подумать, как жить дальше. Пойди успокой сестренку. Она целыми днями не выходит из дому, лежит ничком на материной постели, подушку слезами насквозь промочила...

Я присел рядом с Байрамом. На небе высыпали звезды, будто по фиолетовому бархату кто-то рассыпал золотистый песок. Вот одна сорвалась, прочертила огненный след, угасла. Может, в эту секунду угасла чья-то жизнь. Говорят ведь, что у каждого человека есть своя звезда, которая сулит ему в жизни счастье или невзгоды. С рождением младенца в небе появляется новая звездочка. Теплыми летними ночами, когда мама стелила нам с Байрамом на топчане под шелковицей, я иногда просыпался в полночь от слишком яркого света звезд. Но, как ни вглядывался в однообразное неподвижное

небо, не мог заметить рождения новых звездочек. Они только падали и падали. Порой сыпались, как огненный дождь. Мной овладевал страх: «Если так будет продолжаться, скоро на земле не останется ни одного человека», — думал я. Теперь знаю — когда человек умирает, только для него угасают звезды. Не одна звезда — сразу все. Мама теперь их не видит...

Я почувствовал руку Байрама у себя на колене.

— О чем задумался? — спросил он.

— Разве не о чем?.. Думаю, как жить дальше.

— С Донди связей не налаживаешь?

Я вздрогнул, услышав имя, которое всеми силами старался забыть. Откуда Байрам знает про Донди? Может, Эджегыз раскрыла ему мои секреты? Я внимательно посмотрел на брата, стараясь угадать, что он намерен сказать мне. Я был зол на Донди, слов нет. Но мне не хотелось, чтобы о ней думали плохо другие. А с Байрамом я вообще бы предпочел не разговаривать о ней: я считал, что Донди пренебрегла мной, и мне было стыдно перед братом. Я молчал. Байрам заговорил сам:

— Ты уже взрослый. Худое от добра отличить можешь. Прежде чем совершить серьезный поступок, хорошенько обдумай... Мать как-то говорила, что ты этой девке письма писал. Просила поговорить с тобой. Знал я, что разговор этот будет неприятным для тебя, и все откладывал. Теперь не могу не выполнить того, что обещал ей...

— О чем ты, Байрам-ага? Донди давно нет в ауле.

— Я к тому, что не надо было ей писем писать. Ни к чему это, она — жена своего мужа.

— Я не знал, что ее выдали замуж!

— Хотя бы и не выдали. Не следовало тебе с ней связываться. Думаю, незачем напоминать, какое горе Торе-усач причинил нашей семье.

— Но при чем тут Донди?..

— Он подрубил нашу семью под самый корень, — про-

должал Байрам, будто не расслышав моего вопроса. — И ты намеревался породниться с ним?

— Разговор этот ни к чему теперь, Байрам-ага, — сказал я раздраженно. — И не надо равнять Торе-усача и Донди.

— Яблоко от яблони не далеко катится.

— Байрам-ага, зря ты так...

— Я к тому... чтобы предупредить тебя... чтобы ты не вздумал с девкой этой связей искать...

— Это теперь невозможно, ты же знаешь, Байрам-ага. У Донди теперь свой хозяин...

— Она сбежала на днях от своего богом данного мужа! Давеча Торе-усач приходил ко мне на работу справляться о дочери. Говорит — в глаза мужу сказала, что у нее есть возлюбленный, мол, в Ашхабаде учится. Видать, в тебя метит: из нашего аула сейчас никого в Ашхабаде нет, кроме тебя... Вот и приперся Торе-усач ко мне. От злости красный, как свекла. Кулаками махает, грозит, что, если Донди укрылась в нашем доме, не сносить никому из нас головы...

— А ты что?..

— Тьфу!.. Мне на его угрозы плевать! Я сказал ему, что нам не нужна сучка, бегающая от одного кобеля к другому. На том и расстались.

— Байрам-ага!..

— Что ты орешь, я ведь не глухой.

— Не говори так про Донди! Ты не знаешь ее. Если бы только была мама живой...

— Она бы погнала твою Донди метлой, появись она у нашего порога.

— Неправда! Наша мама была доброй....

— Но не к таким, как Торе-усач, погубившим ее молодость!

— Мама умела подниматься выше личных обид.

— Да, ты прав, она забывала личные обиды. Но когда дело касалось ее сына... Она никогда бы не смогла простить Торе-усачу, что ее дети познали безотцовщину!

— Если бы Донди сама пришла к ней и объяснила...

— Приходила! — бросил резко Байрам и осекся. Кажется, с его языка сорвалось то, чего он не собирался говорить.

— Приходила?... Донди приходила к нам? — от волнения едва выговаривая слова, переспросил я.

Байрам устало провел рукой по бледному лицу, словно вытирая выступивший пот. Полез в карман за сигаретами. Когда прикуривал, руки дрожали. Глубоко затянулся. Запахло едким дымом. Облачко комаров переместилось в сторону и стало виться над жующим траву теленком. Тот мотнул недовольно головой и начал обмахиваться хвостом.

— Она приходила, когда была уже просватанной. Узнать твой адрес пришла... Но мы сами еще не получали от тебя писем. Поэтому не могли дать ей твоего адреса... Она сказала, что не хочет возвращаться домой, и плакала. Намекала, бесстыжая, чтобы оставили ее у себя...

— А мама? Мама что?..

— Сказать правду, наша мама ласково с ней обошлась. Даже чересчур ласково. Погладила ее по голове, слезы вытерла платком и стала внушать, что не резон такой молодой девушке нарушать древний обычай предков, что она должна вернуться к себе домой и вверить себя судьбе. Должна, дескать, принадлежать тому, за кого просватана, кого бог предназначил ей. А та — совсем, видать, совесть потеряла — в глаза нашей матери глядит и, давясь слезами, говорит такое: «Мне бог Дурды предназначил, его люблю...» Можешь мне поверить, даже после этих слов мать не прогнала ее. А только немножко задумалась. Лицо строже сделалось. Сказала она ей: «У Дурды, милая ты моя, своя дорога. Иди и ты своей дороженькой». С этим и проводила ее до двери...

— Неужели мама могла так поступить?

— Ты считаешь, мы должны были ее оставить у себя?

— Я не знаю...

— Трудно представить, чем все это могло бы закончиться. Ты же знаешь нрав Торе-усача и его родичей.

— Но потом же вы могли дать ей мой адрес! Должна же была она мне что-нибудь написать!

Байрам расстегнул карман гимнастерки. Извлек сложенную вчетверо, стертую на сгибах бумагу, вырванную из ученической тетради. Молча протянул мне и удалился. Я торопливо развернул листок и тотчас узнал крупный, размашистый почерк Донди:

«Дурды! В жизни, оказывается, не так просто все, как нам казалось. В тот самый черный для меня день, когда ты уехал, меня просватали — сшили мне саван. Я ждала твоих писем, как спасения, но ты почему-то молчал... Я справлялась о тебе у твоей мамы. Может, мне не следовало этого делать, но твои родные в тот день были для меня соломинкой, за которую хватается утопающий. Думаю, ты за это на меня не рассердишься.

Иногда я вспоминаю старинную легенду о Скале неверности, помнишь? За юношей и девушкой, любящими друг друга, гнались враги. Путь им преградил обрыв, а внизу бушевала река. Первым в кипящие волны бросился юноша. А у девушки, оставшейся одинокой на берегу, не хватило смелости. Враги окружили ее и полонили. Увидев это, юноша поплыл обратно. Но у него не хватило сил, и бурная река поглотила его... С той поры этот каменистый обрыв люди называют Скалой неверности. Но справедливо ли это? Разве девушка виновата, что, оставшись одна, не смогла пересилить врагов? Ведь она слабее юноши — поэтому побоялась, что не справится с волнами. По-моему, он должен был броситься в поток, держа ее за руку, чтобы не дать ей утонуть...

Эта легенда такая же древняя, как наши обычаи. Но мне хочется — если бы я могла! — ее изменить.

Милый Дурды, я не упрекаю тебя ни в чем, но порой мне кажется, ты оставил меня одну на обрыве. И даже не поплыл обратно. Поэтому мне пришлось нынче писать тебе

письмо, считаясь уже женой другого, противного мне человека. Не знаю, что еще уготовила мне судьба, покориться которой мне велела даже твоя мать. Прости и не вини.

Донди».

Я закрыл глаза, предо мной возникла Донди. Я услышал ее спокойный голос: «...Даже не поплыл обратно». Не утонул, как тот юноша, черт возьми! Уж лучше бы утонул! Мне сейчас казалось, что я стою на берегу, а Донди изо всех сил барахтается в потоке, несущем камни, деревья, вывороченные с корнем, я же не имею возможности протянуть ей руку. Как быть, что делать? Ведь твердил когда-то ей: «Не отдам тебя никому. Не уступлю даже самому богу. Если ты перестанешь дышать, и я затаю дыхание, задохнусь, уйду вместе с тобой. Если небо рухнет вниз, а земля разверзнется — и тогда не выпущу тебя из объятий». Донди все ниже опускала голову в смущении от моих слов. Вера им, доверчиво прижималась ко мне. А я гладил ее шелковистые волосы, целовал ее глаза, щеки, полураскрытый от испуга рот... Но небо не упало на землю, и земля не разверзлась под ногами, а Донди мной потеряна навеки.

Донди ушла от мужа. Знает ли она, что угрожает ей? В прежние времена такую женщину сажали на осла вперед спиной и, связав ей ноги под брюхом животного, возили из аула в аул. Каждый прохожий считал долгом бросить в нее булыжник. Потом ее, полуживую, оскорбленный муж закапывал по горло на какой-нибудь свалке мусора. И только сжалившийся прохожий мог положить ей в рот кусочек черствой лепешки... От этой мысли у меня по спине поползли мурашки. Я зябко повел плечами. «Куда она могла уйти?» Но тут же постарался успокоить себя: «Не все ли равно куда! Не стану же я искать ее. У нас в народе считается позором допить после кого-то оставшийся в чаше кумыс». Я медленно разорвал письмо Донди. Ветерок подхватил кусочки бумаги, и они закружились по двору, словно ночные бабочки.

«ПТИЦА СЧАСТЬЯ»

На второй день я собрался уезжать. Байрама дома не было. Он ушел на работу чуть свет, еще до солнца, и не стал меня будить, дав выспаться напоследок в своей постели. А Эджегыз училась во вторую смену и теперь пошла провожать меня. Мы шли, взявшись за руки, и молчали. Ночью прошел небольшой дождь, и прибил пыль на дороге. Вымытая, выгоревшая трава отливала золотом. Солнце быстро поднималось к зениту, высушивало блестящие капельки росы на стебельках. Трава, просыхая, постепенно распрямлялась. Издалека, откуда-то из-за голубоватых кущ садов, еле слышно доносился рокот трактора. Там, за садами, простирались хлопковые поля. Подошла пора уборки, и какой-то нетерпеливый сборщик, верно, уже вывел на участок хлопкоуборочную машину.

На небе ни облачка. Даже дождевые тучки в наших краях подобны шарикам одуванчика: дунет ветер — и следа от них нет. Глядя на лазурное, гладкое, как шелк, небо, и не подумаешь, что ночью украдкой пробежал дождик. Нынешний день, как и большинство осенних дней, сулил жару.

Мы шли медленно. Мне стоило немалых усилий перебороть нежелание уезжать из дому. Сестренка тоже хотела оттянуть время расставания. Занятые своими мыслями, мы молчали и не заметили, как добрались до самого Туя-тепе. Присели в тени холма отдохнуть.

— Пиши нам чаще, хорошо, ага? — тихо попросила Эджегыз и тут же зашмыгала носом, вытерла платком глаза.

— Ну, ну, будет тебе, — сказал я, стараясь придать голосу покровительственную нотку и бойкость. — Незачем нам, сестренка, киснуть. Мама вырастила нас, спасибо ей. И вывела на дорогу. Теперь нам осталось пройти по той дороге, не оступаясь.

Эджегыз вздохнула. Посмотрела на меня и попробовала улыбнуться.

— Ладно. Счастливого тебе пути, ага! Я побегу обратно, а ты поторопись, чтобы не опоздать на поезд.

Мы поднялись. Я привлек сестренку к себе и погладил ее волосы. Только сейчас я заметил, как Эджегыз выросла за этот год: она почти доставала головой до моего подбородка.

— Пиши, ладно, ага? — попросила она шепотом и уронила горячую слезинку мне за расстегнутый ворот.

У меня у самого жесткий ком подступил к горлу. Я хотел упрекнуть ее — зачем, мол, портить настроение на дорогу, — но не успел. Эджегыз отстранилась и быстро пошла к аулу, не оглядываясь. Я долго стоял неподвижно и смотрел ей вслед. Она не обернулась. И лучше — не то увидела бы, как на щеках брата блестят прорвавшиеся на волю слезы. Будто сквозь неровное толстое стекло, я видел удаляющуюся фигурку своей сестренки, видел, как ветерок, прилетевший из степи, подталкивает ее в спину, развевает подол ее старенького желтого платица.

Старушка вахтер узнала меня, едва я с чемоданом появился в фойе. Она сказала, что ребята, с которыми я жил, еще не приходили, и отдала мне ключ. Старушка стала было расспрашивать, все ли благополучно у меня дома, но мне не хотелось разговаривать, я махнул рукой — дескать, поговорим в другой раз — и побежал по лестнице наверх.

Наше окно выходило на солнечную сторону. В комнате стояла духота. Я раздвинул шторы и открыл окно. Стало еще жарче, но не так душно, ветерок перелистал тетрадку на тумбочке, приподнял газету, лежавшую поверх клеенки на столе, как бы проверяя, чисто ли под ней, перевернул листок календаря, открыв сегодняшнее число.

С улицы доносились голоса прохожих, шум автомобилей и чирикание ссорившихся в листве, привыкших к городскому шуму воробьев. По радио красивый баритон спрашивал: «Хотят ли русские войны?...» Кому нужна эта проклятая война?

Никому она не нужна. Туркменам тоже не нужна. Я выключил репродуктор и лег на свою кровать, положив ноги на стул. Подумал, что стоило бы сходить принять душ, но мне было лень даже пошевелиться. Оказавшись на своем студенческом нешироком ложе с упругой, знакомо шуршащей пружинной сеткой под матрацем, я почувствовал, как сильно устал за эти дни.

Очнулся, услышав в комнате голоса. Ораз, Садык, Орунбай сидели на своих койках и тихо переговаривались. В комнате было прохладно и сумеречно. Но света не зажигали, не хотели меня беспокоить. Я поднялся.

— Решили ждать, пока ваша милость соизволит встать, — сказал Ораз, направляясь ко мне.

Ребята окружили меня. Мы поздоровались.

— Ну, рассказывай, — попросил Ораз.

Я склонил голову на руки и долго не мог вымолвить ни слова. Потом начал рассказывать все по порядку, не упомянув, впрочем, ни разу имя Донди. О ней мне не хотелось говорить. Так будет легче забыть обо всем, что между нами было. Лучше бы ничего и не было: и маме меньше пришлось бы переживать. Да и хорошо, что с Донди все так кончилось. Сейчас мне казалось, я все равно не смог бы послушаться маму, сделать что-нибудь против ее желания. Тем более не посмел бы огорчить покойную, не вняв последним ее словам. Лучше не вспоминать про Донди. Никогда...

Ребята сидели молча, тоже понурившись. Потом Ораз прошелся по комнате, включил свет. И на душе стало светлее, как-то свободнее дышаться стало, когда исчезла темнота.

Прошло несколько дней. Боль, поселившаяся во мне, не проходила и даже, как мне казалось, обострилась еще больше. Никакие лекарства не могли ее унять. Говорят, человеку становится легче, если он опрокинет стопочку «белого чая».

Ничего подобного. Я испробовал и это средство. Правда, выпив где-нибудь в кафе, я не хотел показываться своим друзьям и от этого испытывал еще большую тоску, ощущал себя одиноким и никому не нужным.

Вечером, когда мы собирались в комнате, заходили соседи. Меня доводили до бешенства их плоские шуточки, открытые анекдоты, сальности по адресу знакомых девчонок. Меня стал раздражать смех, а порой даже голоса ребят. В таких случаях я прятал голову под подушку и старался уснуть или вставал и уходил, хлопнув дверью.

Мне стало невмоготу высиживать в университете все восемь часов. В голову назойливо лезли дурные мысли, я никак не мог от них избавиться. Все чаще представлял маму, разливающую в пиалушки чай, и заплаканную Донди, пришедшую к ней с мольбой о помощи. «Неужели мама могла ее прогнать?» Я отгонял от себя это видение. Напрягая внимание, вслушивался в слова лектора...

Сегодня с утра я чувствовал жар во всем теле. Без конца хотелось пить. Проглотил две таблетки аспирина и пошел на занятия. По пути ребята, как всегда, подшучивали друг над другом, смеялись. Со мной никто не заговаривал. Вроде бы не ссорились, а у ребят вид, будто я у них украл что-то. Я понимаю, что в последнее время замкнулся, не то что не делился переживаниями — даже расспросы меня раздражали. И не старался скрыть это. Понимаю, что не надо бы так, ребята за это в обиде на меня. Но не стану же я просить их: дескать, поймите меня, станьте на мое место... Я не хочу во все, чтобы они очутились на моем месте.

После второй лекции я вышел во двор. Выпил два стакана ледяной воды из автомата. Посреди университетского двора вырыт был небольшой бассейн неправильной формы, а вокруг цветник. Тут и там под тенистыми акациями и чинарами стояли разноцветные скамейки. Я сел на одну из них, закинул ногу на ногу. Отсюда был виден подъезд и три легковые машины возле него — черная, синяя и желтая. Жел-

тый «Москвич» принадлежал Фикрету, одному пижону с нашего курса. Когда он кончил десятилетку, отец подарил ему автомобиль. И теперь, если Фикрет появляется на лекции, «Москвич» всегда дожидается его у подъезда. Кое-кто злословил по этому поводу, говорили, что Фикрет разучился ходить пешком. Сказать правду, не часто его желтый автомобиль сворачивает в университетский двор.

После холодной воды меня стало знобить. Видать, я простудился где-нибудь на сквозняке. Не мешало бы сейчас хорошо выпить — всю простуду бы как рукой сняло. Но не хотелось еще больше обострять отношения с ребятами.

Третьего дня я притащился в общежитие поздно ночью: с одним парнем с другого факультета ходили в гости к его знакомой. Она щедро нас угостила. Парень остался, а мне пришлось уйти. Вот и припозднился. Бывало, я и раньше запаздывал, но не на столько. Ребята в эту пору всегда давным-давно дрыхли. А сейчас, подойдя к двери, я услышал в комнате голоса. Я вошел, ребята смолкли. Видать, мои косточки перемывали.

— Продолжайте, — сказал я. — Иначе какой суд без подсудимого, — и, пройдя к своей кровати, стал раздеваться. Спиной я ощущал недовольные взгляды ребят.

— Ждем тебя, — сказал Ораз спокойно. — Как мы и предполагали, ты снова явился в состоянии обезьяны, объевшейся тухлыми бананами.

— Не ослоумничай, Ораз. Лучше скажи, я просил у тебя денег? Скажи, просил?

— Денег ты ни у кого из нас не просил.

— Тогда не делайте дурацких замечаний!

— Хорошо. Замечаний больше не будет. Тебе они как мертвому припарки. Мы тебе хотим вот что сказать на этот раз. А ты слушай. Да не шатайся ты, садись!

— Какую еще Америку решили открыть?

— Если ты еще раз придешь в полночь и будешь мешать нам спать, мы тебя изобьем.

— Ого!..

— А если и это не поможет тебе взяться за ум и стать прежним Дурды, мы исключим тебя из нашей коммуны.

— Ну и что, подумаешь!..

— А то, что тебе придется перебраться в другую комнату и искать других товарищей.

— Плевать я хотел на вашу коммуну! — ответил я зло и, плюхнувшись на кровать, натянул на голову простыню.

Утром, правда, я извинился перед Оразом, перед Садыком, перед Орунбаем — перед каждым в отдельности. Но, чувствую, обида на меня не прошла. По разговору вижу: говорят — в лицо не смотрят.

Головная боль на свежем воздухе приутихла. Подумал, не пойти ли в кино, как раз вышел новый фильм. Но сидеть полтора часа в духоте и опять ощущать тупые толчки в затылке, словно кто-то молотком бьет... Я решил побродить по городу и гулял до вечера. Встретился ресторан «Бахор», когда-то я был здесь с Энегуль. А время ужинать. Я прикинул в уме, сколько осталось в кармане денег, и, потоптавшись перед входом, нерешительно отворил стеклянную дверь, за которой золотом мерцали лампы на брюках швейцара.

Стол, за которым я сидел с Энегуль, оказался свободным. Я прошел к нему. «Надо было и на этот раз пригласить Эне, — подумал я. — С нею интереснее. Хотя вряд ли она согласилась бы теперь составить мне компанию. Тогда она рискнула прийти сюда из любопытства. Бедняжке очень здесь не понравилось».

Развалясь в кресле, я пил коньяк. Если кто-нибудь собирался сесть за мой стол, я предупреждал, что места заняты. Одному лучше, чем оказаться в чужой компании.

Играл оркестр. Я в такт музыке постукивал под столом ногой. Я сидел к площадке спиной и не видел танцующих, только слышал шарканье ног, но постепенно мне становилось

все веселее и самому захотелось танцевать. Что и говорить, жаль — нет Энегуль. Мы бы потанцевали. И возвращаться в общежитие не скучно было бы. Сегодня зацеловал бы ее до беспамятства. Не как в прошлый раз. Тогда распелась, что твой соловей, о верности, о долге, о любви. А я уши разве-сил, дурак. Наверно, с тех пор она втихомолку посмеивается надо мной, слюняем считает. Несколько раз замечал, как посматривала в мою сторону и смеялась. Нет, сегодня я по-старался бы реабилитировать себя перед ней. Она узнала бы, какой Дурды мужчина. А ее возвышенные слова — все это красивая сказка, мишура, блеф. Жаль только, у меня в этом уверенности не было. А теперь Донди научила меня трезво смотреть на жизнь. Трезво...

Подошла официантка. Я заказал еще коньяк. Кажется, порядочно захмелел: надо было взять побольше закуски. «А все-таки интересно, где сейчас Донди? Что делает?.. Энегуль чем-то напоминает ее, Донди. Чем же?.. Привычкой слегка щуриться, когда слышит что-то неприятное. Еще во всем ее облике, бывает, промелькнет иногда что-то неуловимое, напоминающее Донди. Наверно, поэтому Энегуль мне нравится больше других девчонок. И мне совсем не безразлично, что она думает о моей персоне. С каким-то холодком она относится ко мне. Плохо, очень плохо, если Эне после того вечера разочаровалась во мне».

Опять подошла официантка. Я полез в карман за деньгами. Она пощелкала на маленьких счетах и назвала цифру — словно кипятком обдала. У меня было чуть больше половины той суммы. Я окончательно растерялся и недоумевающе посмотрел на официантку, желая спросить, не ошиблась ли она.

— Ну скорее, скорее, молодой человек, расплачивайтесь, я спешу, — заторопила она.

Я отдал ей деньги, и пока она считала, робко протянул свой студенческий билет.

— Что это? — спросила она, неприязненно глядя на меня.

— Остальные принесу утром, непременно принесу, — невнятно бормогал я. — Вот мой документ, оставьте...

— Расплачивайтесь, или позову милиционера! — повысила голос официантка.

— Ну ей-богу... — Мне сделалось не по себе от ее визгливого голоса.

Сидящие поблизости стали оглядываться в нашу сторону.

— Не кричите, пожалуйста... Вот увидите, получу стипендию и сразу же...

— Платите деньги! — уперлась в свое официантка и, словно я собирался убежать, ухватила за мой рукав. — Ходят тут всякие! Знаю я вас как облупленных! Хорошо, заметила, а то сбежать собирался. Плати, а то позову милиционера, пусть дознается, что ты за птица!..

За моей спиной раздался знакомый голос:

— Бога ради, девочка, давайте без милиции. Разберемся сами. Сколько он должен?

— Пятерку отдал. Еще четыре тридцать.

— Ну, милая моя, стоит ли из-за такой мелочи поднимать шум?

— По-вашему, я должна из своего кармана платить?

— Пожалуйста, получите. Сдачу оставьте себе.

Я, сконфузившись еще больше, обернулся и увидел Художника, с которым познакомился в прошлый раз, когда побывал здесь с Энегуль. Он сидел за столом с молоденькой блондинкой, певицей, которая выступала в тот вечер. Женщина держала в руке бокал и, обернувшись, с интересом разглядывала меня. С высокой, словно выточенной из мрамора, шеи свисал на полуобнаженную высокую грудь маленький золотой крестик. Художник подмигнул мне и жестом указал на свободное кресло рядом с женщиной.

— Присаживайся, студент, — сказал он, когда я подошел и поздоровался с ним за руку. — Познакомься, это Жаннет, актриса.

Я представился. Она поднесла к губам бокал и, с улыбкой

поглядев на меня из-под крылышек ресниц, еле приметно кивнула.

— Выпьем за встречу, — сказал Художник, наливая в рюмку коньяк. — За его величество случай!

— Спасибо, Самат-ага, что выручили, — сказал я. — Вот получу стипендию и сразу же отдам. Ваш телефон у меня записан.

— Не будем об этом, — сказал Художник, поморщившись, и похлопал меня по плечу. — Звонить, правда, можешь в любое время. Кстати, я ждал твоего звонка еще в прошлый раз. Ты обманул мои надежды, малыш. Ну ничего, зато теперь нас свел сам аллах, — захохотал он. — Гора с горой, как говорится, не сходится, а человек с человеком... Ну, ладно, давай выпьем, малыш.

— Самат, налей мне вина. Мне хочется выпить с Дурды, — сказала Жаннет, бросив на меня многозначительный взгляд.

Самат исполнил ее просьбу.

— Я пью за его молодость, — сказала Жаннет.

— Пей, да не забывай, что и я не пенсионер, — пошутил Художник.

— За встречу, — сказал я.

Мы выпили.

— Может, тебе нужны деньги займы? — спросил Самат, положив руку на мое колено и наклонившись к самому уху. — Я получил крупный гонорар. Если хочешь, могу одолжить...

— Если можете, до стипендии, — сказал я.

— Бери. Отдашь, когда сможешь, — прошептал Самат, подмигнув, и сунул мне в руку две шуршащие красненькие десятки.

Я положил деньги в карман, благодаря судьбу за то, что она так кстати послала мне этого человека.

Самат хлопнул меня по колену и резко выпрямился в кресле. Секунду разглядывал меня в упор. Я невольно поежился. Он улыбнулся и погрозил мне пальцем:

— Только, чур, больше не обманывать. Я выбираю себе только честных друзей. Завтра непременно позвони мне. Дело к тебе есть. Очень важное.

— Ладно, Самат-ага, — согласился я, недоумевая, какое у него может оказаться ко мне дело. — Ладно, завтра позвоню. Ваш телефон у меня записан. В прошлый раз в блокноте записал.

Я едва выговаривал слова, язык мой еле ворочался, будто не помещаясь во рту.

— Выпьешь? — Самат наклонил бутылку над моей рюмкой.

Я встал из-за стола.

— Мне пора в свои апартаменты, ребята, поди, соскучились по мне.

— А женщины? — спросила блондинка, склонив голову набок, и улыбнулась. — По вас, наверно, и не одна женщина сохнет?

Меня смутил ее вопрос. Я предпочел сделать вид, что ее не расслышал.

— До свидания, — сказал я.

— Всего доброго. Завтра жду твоего звонка.

— Кто знает, может, в следующий раз я тоже дам тебе свой телефон, — сказала захмелевшая блондинка и послала мне воздушный поцелуй.

Огромное пятиэтажное здание общежития, словно циклоп, смотрело на меня одним-единственным глазом — светящимся окном нашей комнаты. Уже второй час ночи. Ребята ожидают меня, чтобы устроить головоломку. Чего доброго, еще и в самом деле побьют: сегодня у меня сразу две провинности — ушел с лекций и задержался допоздна. Нет, не тронут, у кого из них поднимется рука на своего товарища, с которым из одной касы чорбу хлебать приходилось? Интересно, какой сюрприз они для меня уготовили? Правда, если намылить шею — для пользы, чтобы чище была, так сказать? Тогда у любого из них рука не дрогнет, будь уверен...

На всякий случай, чтобы избежать греха, я не пошел к себе. Пройдя по коридору на цыпочках, постучался в соседнюю комнату.

Я проснулся весь в поту. Моя одежда сползла со спинки кровати, закрыла мне лицо. Я рывком сел, спустив босые ноги на холодный пол. По темени будто стучали молоточки. Пошел на кухню, напился из крана. Снова лег. Но уснуть уже не мог. Вспомнил, что нахожусь в чужой комнате, вспомнил, почему я здесь. Стыдно все же перед ребятами: ведь они ждали меня. Потом, вытеснив недолгий стыд, грудь наполнила злость. Почему я должен жить так, как хочется им, а не как заблагорассудится мне самому? Разве свобода, которую завоевали наши отцы, не для меня? Надо прочесть им лекцию на эту тему! Напомнить страничку истории.

Я не выходил из своего убежища до самого полудня, чтобы не столкнуться лицом к лицу с кем-нибудь из наших ребят. Затем прокрался в буфет, позавтракал и отправился в университет. Собственно, сегодня я пришел, только чтобы показаться нашему старосте, который корчил из себя невесть что и подавал в деканат рапорты не только на отсутствующих, но и даже на тех, кто опаздывал. А меня недавно вызывал декан и грозил за прогулы снять со стипендии.

Войдя в аудиторию, я издали помахал рукой старосте, — дескать, вот он я, смотри да поскорее отметить в своем трехклятом журнале, что мое место сегодня не пусто.

Один из почитаемых нами преподавателей читал лекцию по этике. Мне подумалось, что всего лишь год назад я слушал его лекции с гораздо большим интересом. Тогда было совсем другое: каждой хорошей оценкой на экзаменах или зачетах мне не терпелось похвастаться перед мамой и перед Донди. Мне хотелось воздать маме сторицею все, что она для меня сделала ценою своего здоровья и молодости. Я хотел заслужить уважение Донди, предстать перед ней человеком, до-

бившимся всего, что хотел. А теперь без этих двух дорогих мне людей учеба для меня потеряла смысл. Для чего лезть из кожи? Не остаться бы только без стипендии в следующем семестре. Вы спросите, почему я вовсе не бросил учиться, если мне все так опротивело? Хотя в какой-то мере у меня действительно пропал интерес к учебе, я считал, что начатое все же следует довести до конца. Правда, и без образования прекрасно живут люди, однако раз я обещал маме учиться, должен сдержать слово. Да и Донди не в восторге будет, если услышит, что меня исключили из университета...

Как только кончилась лекция, я вышел из аудитории, едва не наступая на пятки преподавателю. Перескакивая через две ступеньки, спустился вниз и вышел на улицу. За углом был телефон-автомат. Я набрал номер.

— Вас слушают, — слышался хриловатый баритон, и я сразу же узнал Художника.

— Здравствуйте, Самат-ага. Это я, Дурды. Вы просили...

— А-а, здравствуй, здравствуй. Поймай «железку» и приезжай ко мне, на Вишневую, пять. Жду.

В трубке слышались короткие гудки.

Честно говоря, мне не хотелось выбрасывать на ветер деньги, разъезжая в такси. Можно и в автобусе в любой конец города добраться. Но поди узнай, какой номер автобуса или троллейбуса может доставить на Вишневую улицу. Я вынул блокнот и, пока не забыл, записал адрес.

Остановил такси. Водитель потер ладонью лоб, как бы припоминая улицу, и хмуро сказал:

— У черта на куличках. Два рубля. Плати вперед. А то знаю вас, шарлатанов, колесите из конца в конец, потом денег не хватает...

Мы поехали. Шофер выплюнул за окно сигарету, заговорил ухмыляясь:

— К бабе жмешь? Мужик небось на работе, а ты к ней?

— Нет, что вы.

— Повадился к моей один желторотый, вроде тебя. Я день баранку кручу, а он...

— Это вы жене спрос предъявляйте.

— Устроил ее работать. Диспетчером на свою базу, чтобы на глазах была. Вроде угомонилась...

«Как у некоторых все просто! — подумал я. — Случись такое в нашем ауле, страшно представить, что было бы...»

Мы долго петляли по задворкам. Глиняные высокие дувалы вплотную подступали с обеих сторон. Ветви персиков и абрикосов царапали крышу машины. Наконец выехали на широкую прямую улицу, сплошь обсаженную вишнями, за густой зеленью которых едва проглядывали белые одноэтажные домики. Над макушками серых от пыли деревьев возвышались шиферные крыши. Улицу еще не успели покрыть асфальтом, и за нами тянулся длинный шлейф пыли. Ветер относил желтое облако на сады, втиснутые в маленькие дворики, где виноград вьется по жердочкам и зеленым кружевным навесом закрывает землю от солнца.

Машина остановилась у больших желтых ворот с цифрой пять. Я поблагодарил водителя и направился к калитке. Едва занес руку, чтобы постучать, калитка отворилась. За ней стоял Художник.

— Добро пожаловать, — сказал он, приветливо улыбаясь, и пожал мне руку. — Я увидел тебя в окно.

Мы поднялись по ступенькам на просторную застекленную веранду. В углу — китайский розан усеян крупными алыми цветами. По полу — широкая плюшевая дорожка. Посредине веранды стол под зеленой скатертью с яркими, словно живыми, маками по углам. На столе сифон.

Самат выдвинул из-под стола изящные бамбуковые табуретки, предложил сесть. Сам устроился напротив. Навалившись грудью на стол, он несколько секунд пристально разглядывал меня, будто хотел загипнотизировать. Потом улыбнулся, положил ладони на стол и слегка побарабанил ими, как бы обдумывая, с чего начать разговор.

— Сдается мне, у тебя неважная житуха?.. — сказал он, взглянув на меня в упор.

Я пожал плечами:

— Живу как все студенты. Получаю стипендию. Брат иногда присылает...

— В общем, жизнь не бал-маскарад!.. Большинство студентов сидят на хлебе да воде, знаю. Но, понимаешь ли, малыш, кто умеет жить, тот ест и плов. В твоём возрасте, кроме того, наверно, и в ресторан пойти хочется? И с девочками побаловаться, а? Ха-ха-ха!..

Я опять пожал плечами, промолчал. Лицо Художника неожиданно сделалось строгим. Зрачки сузились и, словно буравчики, вкручивались в самый мой мозг, казалось, видели мои мысли. Я опустил глаза и принялся нервно теревить край скатерти.

— Хочу тебе предложить работу, — сказал Самат, — если столкнемся, будет у тебя и плов, и коньяк, и женщины...

Он откуда-то извлек пару пестрых безразмерных носков, обернутых в целлофан, небрежно бросил на стол.

— Нравится? — спросил он.

— Нравится.

— А это?

Рядом с импортными носками шлепнулся плетеный черный галстук, будто лучиками света пронизанный золотыми нитками.

— Наши ребята ищут такие и не могут найти, — сказал я.

— В том-то и дело! Ты попал в самую точку, приятель! Бери! Дарю!

— Почему вы так щедры ко мне?

Самат усмехнулся:

— Вот это деловой разговор.

Он встал, заложив руки за спину, прошелся по дорожке. У него была пружинистая, какая-то крадущаяся походка.

Не дойдя до конца веранды, остановился и резко повернулся ко мне:

— Я дам тебе двадцать пар таких носков... Нет, не делай изумленного лица, это не подарок. И полсотни галстуков... Ты предложишь их тем, о ком сейчас говорил, что ищут такие и не могут найти. Будь уверен, охотников до таких вещей среди твоих знакомых предостаточно. Товар не залежится, можешь быть спокоен. Друзья тебе благодарны останутся...

— А почему?

— Совсем недорого! Пара носков — пятерка, галстук — тройка. Деньги, которые ты получил у меня в займы, считай, аванс. Продашь это, получишь еще. По рукам?

— Откуда вы добываете этот товар?

Самат криво ухмыльнулся:

— Виноград ешь — про сад не спрашивай. Давай договоримся сразу, лишних вопросов не задавать. Я даю тебе товар, ты реализуешь. Так лучше. Дело тебе придется иметь только со мной. Считай, ты родился в рубашке, малыш! Тебе на плечо опустилась птица счастья. С этого дня ты не будешь испытывать нужды. Если, конечно, будешь умницей, старательным и справишься с моим поручением. Мне кажется, я в тебе не ошибся, чутье меня редко обманывало.

— За какой срок я должен управиться?

— Сразу видать, ты человек дела! Чем скорее, тем лучше! Да, вот еще что. Ты, кажется, живешь в общежитии?

— Да.

— Место жительства надо сменить. Сам понимаешь, этого товара у тебя никто не должен видеть. Даже среди близких друзей порой находятся завистники — могут пойти всякие слухи, компрометирующие тебя. Словом, поищи себе комнату. Когда встретимся еще, сообщишь свой новый адрес. Договорились?

— Где я вас увижу?

— По субботам, как ты, наверно, заметил, я часто посещаю

«Бахор». По телефону можешь звонить в понедельник. Но, чур, о товаре по телефону ни слова. Просто будем договариваться насчет встречи.

— А если ребята узнают о моих делах?

— Какие еще ребята?

— Мои друзья.

— Запомни: друг у тебя один — это я. Согласись, истинный друг тот, кто приходит на помощь в трудную минуту. О деле ни с кем ни гугу, кроме меня. Понял?

— А если близкий друг? Он ведь все равно может дознаться...

— Если стоящий парень... которому можно доверять, поговори с ним. Пусть поможет тебе на первых порах. Позже, если будет стоять того, дашь мой телефон, познакомишь. А там видно будет. Умные ребята нам всегда нужны.

Я ушел от Художника, унося небольшой чемоданчик, с такими обычно ходят на тренировки спортсмены.

ЛИХА БЕДА — НАЧАЛО

За неделю я распродал весь товар. Даже не ожидал, что так быстро управлюсь. От выручки мне перепало десять процентов. Сам Художник высчитал их на счетах. Дела мои пошли на лад: в кармане стали водиться деньжата. Теперь я с томлением ожидал возможности переселиться на частную квартиру. Наконец-то буду избавлен от нотаций и надоедливых вопросов. Особенно в последние дни — купишь в общий котел того-сего или пригласишь ребят в кино, угостишь пивом в буфете — еще надо и отчет держать перед ними; окольными путями и так и сяк пробуют дознаться, откуда у меня деньги. Нет-нет да и затеют разговор об этом. А мне приходится изворачиваться, извиваться, как акробату в цирке, у которого вовсе нет костей. Скажи попробуй правду... В ресторан ходят, плов едят, коньяк пьют, а потом ты же еще и будешь

плох. Поневоле кривишь душой: однажды пришлось сказать, что за выходной день сформовал одному хозяину тысячу кирпичей, вот и получил, дескать, тридцатку. Ребята попросили узнать, не нужно ли ему еще кирпичей, чтобы всей коммуной поработать.

Во второй раз, когда опять меня приперли к стенке, пришлось выдумать романтическую историю про состоятельного дядю, нежданно-негаданно встретившегося на улице, который взялся помогать мне до самого окончания университета. Ребята переглянулись и промолчали. Мне кажется, они только сделали вид, что поверили. Вопросов, правда, не задают. Зато, замечаю, внимательнее присматриваются ко мне. Не по душе им, что я часто ухожу, не сказав куда, что ко мне заходят незнакомые им люди. Обычно мои гости — разговорчивые, умеющие к слову ввернуть соленый анекдот и с первой минуты способные найти подход к любому и каждому. Но моим друзьям они, к немалой моей досаде, почему-то не нравились. Не мог же я для своих новых товарищей назначить часы приема, как бывает написано на дверях кабинетов больших начальников. Они, как парочно, приходили, едва мы садились заниматься. Правда, я всякий раз отыскивал причину и старался поскорее их выпроводить, вынужденный затем сам уйти с ними, чтобы вернуться в полночь. Из-за этого у нас в комнате все чаще вспыхивали ссоры.

Стоит ли говорить, как я был рад, когда наконец представилась возможность переселиться на частную квартиру. Комнату с отдельным входом я отыскал неподалеку от нашего общежития, в тихом кривом проулке, где не разъехались бы две машины. В тот же вечер я объявил ребятам, что намерен переехать. Они, вопреки моим ожиданиям (я думал, будут рады), стали отговаривать меня от этой затеи. Убеждали остаться в общежитии. Фантазия помогла мне и на этот раз. Выбирая самые убедительные, самые увесистые слова, я рассказал, будто встретил девушку неопишуемой красоты, и если теперь же не женюсь на ней, то им всем скопом придется через

весь город тащить мой труп на кладбище. Орунбай так расчувствовался, что стал вытирать платочком глаза. Я про себя отметил, что он, пожалуй, предан мне до конца. А Садык — до всего ему дело! — потребовал показать невесту. Я объяснил, что она уехала ненадолго к родителям в район, и я обещал к ее приезду приготовить комнату. И заверил ребят, что познакомиться с моей невестой у них возможность будет.

— Ты никогда не был со мной искренним, — заметил Садык и задумчиво помотал головой.

— Почему? — встревожился я.

— Ты всегда прочил мне самую красивую девушку в Ашхабаде, а отхватил себе...

Я засмеялся.

— Для меня она самая красивая, а для тебя, может, другая красавица найдется.

— Дай бог! Аминь, — сказал Садык и провел по лицу ладонями. — Но если ты вправду присвоил самую красивую, коротать мне мой век бобылем, а тебе совесть не даст покоя.

Ребята были невеселы, но донимать меня уговорами не стали.

— Поступай как знаешь, — сказал Ораз.

Они помогли мне перенести вещи на новое место, пообещали, что койка в общежитии будет числиться за мной: если надумаю, могу вернуться.

Так я поселился в небольшой комнате в доме тетушки Марьям. Хозяйка оказалась добрейшей старушкой. Очень скоро я понял, что она не столько нуждается в моих деньгах, как боится одиночества. Что ни говори, возраст — седьмой десяток пошел, — а во всем доме одна. Пусть беду пронесет стороной, но всякое может случиться... Я старался помогать старушке по хозяйству: рубил дрова, приносил воду из колонки. Если отправлялся в магазин, всегда спрашивал, не надо ли ей что-нибудь купить.

Поздней осенью, когда дни стали короткими, рано насту-

пала ночь и из-за проливных дождей не хотелось выходить из дому, тетушка Марьям часто по вечерам заглядывала ко мне. Она усаживалась, придвинув табуретку поближе к нашей натопленной печке, вынимала из старой, пожалуй, как она сама, парусиновой сумки недоконченное вязание, и в ее огрубелых толстых пальцах начинали мелькать серебряными искорками спицы. Удивительно ловко подхватывала она кончиком стальной спицы шерстяную нитку, втягивала в петлю. Сколько бы я ни смотрел, не мог понять, как это она делает. За работой старушка рассказывала о своих сыновьях, разлетевшихся в разные стороны, как птицы из гнезда, о красавицах невестках, о любимых внучатах, для которых и вязала носки, варежки, шарфы. А нынче вот младшая невестушка заказала белый пуловер связать — сказывают, стали модными вязаные вручную крупной вязкой пуловеры. И тянется белая нитка из ветхонькой сумки; тянутся дни, недели, месяцы; кажется, не будет ей конца, как самому времени.

За работой старушка хвалит своих деток, гордится, что она ствол большого дерева. Только за все это время, пока у нее жил, не довелось мне увидеть, чтобы кто-нибудь из родни проведal тетушку Марьям. Скучно старушке. Если кто-нибудь зайдет из соседей — для нее праздник. Давно просит меня пригласить в гости друзей, обещает такой плов приготовить, от которого за уши не оттянешь.

А ребята, словно сговорились, еще ни разу не побывали у меня. Может, обиделись. А может, я сам, приглашая, не проявлял особой настойчивости. С Оразом, Садыком и Орунбаем мы видимся каждый день на лекциях, успеваем обговорить все интересующие нас вопросы. Но про новоселье они всякий раз деликатно умалчивают. И я не напоминаю. Нельзя сказать, чтоб я не хотел их прихода. Наоборот, мне давно хотелось, чтобы мои друзья посмотрели, как я обосновался на новом месте. Но вот тревожила мысль, что, придя ко мне, они заведут разговор о моей невесте. Тогда придется либо признаться, что я их обманул, или же назвать ее коварной ведь-

мой и предстать самому обманутым, но ни то, ни другое не могло возвысить меня в глазах ребят...

Все же я решил исполнить просьбу тетушки Марьям.

В перерыве между лекциями я отозвал Ораза в сторону:

— Послушай, приходите сегодня вечером ко мне, — сказал я.

Ораз положил руку мне на плечо и, глядя в упор, потребовал:

— Выкладывай причину. Устраиваешь той по случаю бракосочетания? Тогда нам надо успеть купить для вас подарок.

— Да нет, — поморщился я, будто проглотил что-то противное. — Тетушка Марьям обещала приготовить плов. А у меня давно дожидается вас бутылка азербайджанского коньяка «Гек гель». Такого душистого букета ты еще не встречал! — И я поднес пальцы, собранные в щепотку, к губам.

— О-о! Сегодня как раз суббота. Я согласен. С остальными братьями поговори сам. Ты же знаешь, коммунары не любят посредничества.

Мы ударили по рукам и разошлись.

Вечером у меня собрались гости. Пока мы сыграли партию в домино, тетушка Марьям приготовила плов. Она принесла его, уложив в большом фарфоровом блюде высокой пирамидой, и поставила посредине стола. Комната наполнилась будоражащим аппетит запахом острых приправ. Мы стресли домино со стола и вооружились деревянными ложками. По словам тетушки Марьям, гораздо вкуснее есть плов деревянными ложками. Я извлек из-под кровати коньяк. Загляни туда кто-нибудь — не догадался бы, какую драгоценность он видит: бутылка валялась в углу, покрытая вся слоем пыли и окутанная паутиной. Но когда я ловким движением стер с нее тряпкой пыль, раздались возгласы восторга. Хозяйка сходила к себе, принесла хрустальные рюмки. Сама устроилась возле печки, принялась вязать. Как мы ни упрашивали ее присесть к столу, отказалась.

— Ешьте, пейте, детки дорогие. Вас же давно домашним никто не потчевал. А я тихонько посижу, полюбуюсь вами, — отговаривалась она ласково.

Ораз предложил выпить за здоровье тетушки Марьям. Мы поддержали его. Орунбай подтолкнул меня локтем, сказал на ухо:

— Знаешь, хозяин, я в первый раз пью из таких рюмок. Оказывается, приятнее, чем пить из пиал или граненых стаканов. Налей-ка еще...

— Попробуй сначала плов. Может, ты и такого плова не едал! — заметил Садык, впервые добровольно уступая первенство в стряпне.

Плов действительно был хорош. Прежде мне совсем не нравилось, когда среди разваренного, но рассыпчатого — можно по зернышку перебрать — риса попадались дольки чеснока и изюма. Казалось, они несовместимы. А сейчас я специально отыскивал их, разрывая ложкой желтую пирамиду на блюде, которая исходила горячим душистым паром.

Орунбай поерзал на стуле, затем торжественно произнес:

— За нашу коммуноу! Чтобы она жила, и когда мы, закончив университет, разъедемся в разные стороны. Если наступит в жизни трудный час, пусть каждый из нас вспомнит о ней и будет уверен, что друзья придут на помощь!

Мы встали, над столом раздался переливающийся звон.

— Тетушка, дайте мне рецепт вашего плова, — обратился Садык к хозяйке, обгладывая куриную ножку.

— Это от руки зависит, сынок. Рука легкая — получится вкусно, тяжелая — лучше не берись готовить.

— У Садыка рука легкая, — сказал Орунбай. — Мы все им очень довольны.

— Уж лучше не давайте ему рецепта, — вмешался в разговор Ораз, — не то бросит университет, пойдет в кулинары.

Я покрутил ручку патефона, поставил пластинку. Комната

наполнилась дробным — то сухим, режущим слух, то глухим, громыхающим, как весенний гром — перестуком депа. Ему вторил тонкий и нежный, как девичий голосок, звук гиджака. Ораз обнял Орунбая за плечо и вытащил из-за стола. Они танцевали, широко разведя руки, поводя плечами, играя улыбкой. Однако пуститься в такой пляс, чтоб искры из-под каблуков, мешала теснота. Тетушка Марьям положила вязанье на колени и не сводила с них ласкового восхищенного взгляда.

— Долгой вам жизни, детки! Будьте всегда веселы и счастливы, — приговаривала она.

Когда я пошел провожать ребят, было уже за полночь. Мы шли неторопливо темной узкой улочкой. У ворот тускло горели лампочки, раскачиваясь от ветра и побрякивая железными шляпками. Призрачный желтый свет стлался по мокрому тротуару. В выбоинах поблескивали лужи. Как мы ни старались обойти их стороной, ноги то и дело проваливались в холодную, подернувшуюся ледком жижу. Но ничего не могло сейчас омрачить нас. Право, хотел бы я видеть лица ребят, когда утром они увидят свои туфли и брюки, в которых предстоит идти в университет, забрызганными грязью. А пока что Ораз и Садык, обнявшись за плечи, вышагивали впереди, разбрызгивая лужи и мурлыкая потихоньку песню.

Мы с Орунбаем приотстали. Захлебываясь от восторга, он рассказывал об услышанной сегодня новости, будто где-то видели невесть кем сотворенный и откуда-то прилетевший космический корабль. А в Канаде якобы недавно таинственные пришельцы из других миров пригласили и увезли к себе в гости целое огромное селение. Я не стал выказывать сомнения, чтобы не огорчать его. Напротив, согласно кивал головой, заверяя, что такое вполне может случиться, что на свете и не то еще бывает.

Орунбай глубоко задумался и через минуту спросил:

— Хозяин, не можешь ли ты дать мне взаймы несколько рублей?

— Сколько захочешь! — воскликнул я, захохотав, и хлопнул себя по оттопыренному карману, где и в самом деле были деньги. Правда, не мои, но зато много. И будь я трезвый, не поступил бы так: вынул пачку десятирублевок и поднес их к самому носу Орунбая. — Сколько тебе угодно, могу одолжить! — повторил я самодовольно. — Хоть сто рублей, хоть двести!

Орунбай, как бы не веря своим глазам, ощупал пачку, перевел растерянный взгляд на меня:

— Мне много не надо, хватит десятки...

— А ты хочешь, чтобы у тебя водились деньги? — спросил я, беря его под руку. — Вот столько! А может, еще больше! Хочешь?

— Такое спрашиваешь, хозяин! Кто этого не хочет, — усмехнулся Орунбай.

— Могу предложить тебе работу. Будешь иметь каждый день плов, коньяк и, если хочешь, даже женщин...

Орунбай остановился и, загородив мне дорогу, с интересом уставился на меня. С минуту он не мог выговорить ни слова. Видать, очень уж заманчивым показалось ему мое предложение. Еще бы! Я сам оторопел, помню, когда добрый человек завел со мной разговор об этом.

— Какую работу? — смог наконец промямлить Орунбай.

— Поклянись, что будешь держать язык за зубами и никому не расскажешь того, что я тебе сейчас открою.

— Буду молчать. Могила!

— И даже нашим ребятам, членам коммуны.

Орунбай задумался — засомневался, видать, — почесал затылок и возмущенно бросил:

— Слушай, хозяин, брось меня разыгрывать! Если не хочешь одолжить денег, так и скажи.

— Какого черта психуешь! Пожалуйста, бери свою десятку. Через два дня ее у тебя не будет, словно корова слизнет. А тут такая перспектива! Птица счастья сама в руки летит... Эх ты!..

— Хозяин, перестань меня дурачить. Говори прямо или перестань злить, а то... А то, как колышек, вобью тебя в землю кулаком.

— Но ты не дал еще слова навесить на свой рот замок.

— Клянусь своими предками, черт тебя подери!

— Тише, дурак... Запиши телефон. — Я продиктовал ему номер Художника. — Спросишь Самата-агу. Сошлешься на меня. Скажешь, я велел позвонить. Он тебе объяснит, что делать. Только постарайся ему понравиться.

— А если ему не понравится моя физиономия?

— Тогда считай, не удалось тебе поймать за хвост птицу счастья.

— И я не могу посоветоваться со своими братьями?

— Тсс, — я приложил указательный палец к губам, — ни в коем случае.

— Теперь я вижу, ты совсем от нас отбился, хозяин. Не обижайся, это правда. Я о тебе думал лучше...

— Когда в твоем кармане заведутся червонцы, ты изменишь мнение обо мне, Орунбайхан. Но учти, ты поклялся молчать.

Он ударил себя кулаком в грудь:

— Могила! Если Орунбай пообещал, он сдержит слово. А сейчас, хозяин, иди домой. Темно, чего доброго, заблудишься один. — Он сложил рупором ладони и крикнул ушедшим далеко вперед Оразу и Садыку: — Эй, братва, короче шаг! Дурдыхан хочет пожелать вам доброй ночи!

От его громкого голоса, неожиданного в ночи, я вздрогнул. Несколько крупных дождевых капель сорвались с оголенных веток, рассекших небо изломанными черными линиями, точно переспелые персики зашлепались о землю. Одна упала мне за ворот, заставив съежиться от озноба.

Ораз и Садык остановились, поджидая нас. Распрощались. Я быстро зашагал в обратную сторону, подняв воротник осеннего пальто, радуясь за Орунбая и тому, что вдвоем нам будет куда все проще.

ОРУНБАЙ ПРОЯВЛЯЕТ ХАРАКТЕР

Как вы думаете, может человек девятнадцати лет от роду за одну неделю состариться? Я тоже думал, что нет. А вот нынче взгляну в зеркало — с трудом узнаю себя. Говорят, бывали случаи, когда люди седели мгновенно. Я не поседел, конечно. Но осунулся, как старик. Глаза запали, под ними темные круги, шея стала тонкой, что былинка, удивляюсь, как голова на ней держится. И все из-за треклятого чемодана с «товаром».

В прошлый понедельник наклевывалась удача. Один из моих знакомых, выпускник университета, справлял комсомольскую свадьбу. Несколько ребят с его курса, прослышав обо мне как о волшебнике, который может раздобыть все самое дефицитное, целых полчаса уламывали меня достать для них красивые эластичные носки под темный костюм и блестящие галстуки. Вначале, как и полагается, я отказывался, ссылаясь на занятость, на то, что теперь уже порвал связи со знакомыми продавцами, с которыми прежде якобы имел дело. Потом уступил их мольбам и обещал попробовать позвонить «одной девице». Сказал, что у них все будет, если она не очень на меня в обиде за то, что давно ее не навещал.

Домой возвращался в прекрасном расположении духа и подсчитывал про себя, какая на этот раз окажется выручка и сколько перепадет на мою долю. Достав ключ из потайного места, я торопливо отомкнул дверь. Едва переступил порог, швырнул папку с конспектами на стол и ринулся под кровать за чемоданом, доверху набитым дефицитными сокровищами. Отбросил покрывало — и обдало холодом: чемодана не было. Я пошарил в полутьме под кроватью, не веря тому, что случилось. Я все перевернул вверх дном в комнате. Чемодан исчез. Куда он мог деться? Где его искать? Что делать? Будь в нем мои собственные вещи, я, естественно, тотчас обратился бы в милицию. Они бы разобрались, куда делся чемодан...

А сейчас я мог поведать о своем горе только тетушке Марьям. Может, она знает?..

Бедная старушка обшарила сарай. Обследовала кучихлама в кладовке, под навесом во дворе. Заглянула даже в курятник. Она испугалась, глядя на мое побледневшее лицо. И переживала не меньше меня.

— Никогда не было такого, чтобы в моем доме пропали вещи. Нечистой силы проделки, не иначе, — приговаривала она, еще раз перебирая старье в кладовке — рассохшиеся кадушки, драные корзины, ящики для посылок, бутылки, тряпье. — Может, подшутил кто?.. Давеча никто к вам не приходил?

— ...

— Может, оставили где?

— ...

— Он же не имеет ног, чтобы уйти самому!

Мы обшарили все углы. Я даже на чердак слазил, перепугав всех пауков. Чемодана не было. Оттого, что пропажа в этом доме случилась впервые, мне нисколько не стало легче.

— Кто знал, куда ты прячешь ключ? — спрашивала уже в который раз хозяйка.

— Никто, кроме моих друзей!

— Может, они пошутили?

— Ну нет, такого они себе не позволяют.

Я не ходил в университет два дня. Поднялась температура, и я слег. Пришли Ораз и Садык, встревоженные тем, что я снова начал пропускать занятия. Вероятно, мой вид не оставлял сомнений в том, что я тяжело болен. Ораз сбегал в аптеку и принес мне лекарства от простуды. Когда они ушли, я, раздосадованный, зашвырнул таблетки в мусорную яму. Вот положеньице — друзьям даже нельзя рассказать! От этого мои муки удесят�ались. Поистине зрагу такого не пожелаешь.

Я перестал выходить в город, опасаясь нечаянной встречи

с Художником. Меня охватывал страх при мысли, что рано или поздно он пожалует ко мне в дом (а то, чего доброго, в университет!) и потребует свои вещи. Или деньги за них. Все назойливее твердил мне внутренний голос: «Скройся, пока не поздно. Беги из Ашхабада. Плюнь на все — на университет, на образование, на театры, на широкоформатное кино... Спасайся — Художник не из тех, кто умеет щадить! С тебя с живого сдерет шкуру...»

Тетушка Марьям заботливо ухаживала за мной. Она принесла и поставила на тумбочку у моего изголовья чайник с крепким чаем, вишневое варенье, горячий чурек, только что вынутый из тандыра, и сливочное масло.

— Ешь, сынок, на тебе лица нет, — сказала она участливо. — Я пойду в поликлинику, врача позову.

— Не надо звать. Я сам пойду, — ответил я, поднимаясь.

«Сейчас или потом — какая разница? Все равно придется рассказать Художнику о пропаже, — подумал я. — Сбеги я сейчас из Ашхабада, у него не останется и сомнения, что я украл товар. А он сможет меня найти, если даже я провалюсь в землю, если нырну в океан. Нет места, где он не смог бы до меня дотянуться».

— Пойду в поликлинику, — сказал я тетушке Марьям.

Надев пальто и обмотав шею толстым шарфом, я вышел на улицу.

Изо дня в день становилось холоднее. Все чаще тяжелыми сизыми тучами заволакивало ашхабадское небо. Седеющие к утру ветви деревьев, ледяные ветры напоминали о приближении зимы. А сегодня иней, побеливший деревья, жухлую траву около арыков, телеграфные провода, не сошел и к полудню. Белесое солнце, как начищенный двугривенный, тускло поблескивало сквозь пелену туч. Ветер обжигал щеки. Наверно, ночью выпадет снег. Я плотнее запахнул пальто, поправил шарф, недавно подаренный Художником. Впервые этот модный мохеровый шарф не грел меня и не радовал. Пожалуй, уже время надевать шапку...

Я вышел на улицу Фрунзе и повернул направо. У входа в аптеку был телефон-автомат. Я прошел мимо, не решаясь — позвонить или нет? Потом повернул обратно. Махнул рукой: «Будь что будет!» Снял трубку, набрал номер.

— Вас слушают, — прошелестело в трубке.

— Это я, Дурды... — Как я ни старался быть спокойным, голос мой дрожал.

Трубка молчала несколько томительных секунд, затем раздалась короткие гудки. Я отыскал в кармане еще одну монету, снова набрал номер.

— Слушаю, — ответил так же холодно Художник.

— Дурды говорит. Нас разъединили...

— Никто нас не разъединял! Это я положил трубку! Я! Понятно? И вообще, пошел ты собаке под хвост! Балбес! Чтобы я больше не слышал твоего мычания по телефону! Забудь номер...

Я оторвал от уха заиндевелую трубку. Из нее долго еще неслись шипенье, хрип, ругательства, и, наконец, снова посыпались гудки. Я постоял минуту, стараясь опомниться. «Вот так угодил... Ошибся номером, — решил я с досадой и начал рыться в карманах, рассчитывая найти еще монету. — Ну и поделом тебе! Еще не то услышишь...»

— Ну чего тебе, фраер? — спросил с раздражением тот же скрипучий голос.

— Это Самат-ага? — спросил я, с ужасом чувствуя, что вовсе не ошибался номером.

— Да! Да! Самат-ага! Чего тебе нужно?

— Самат-ага, извините... Я, может, не вовремя... Но я хотел вам сказать... — Трубка задрожала у меня в руках, горячий железный обруч сдавил горло. Я расстегнул ворот, прокашлялся. — Я хотел сказать, Самат-ага, что меня ограбили...

Что угодно я готов был услышать сейчас от него: и ругательства, и проклятия, и угрозы, — только не этот раскатистый — нет, не истерический — какой-то злорадный хохот.

Я замер в недоумении, судорожно прижав к уху трубку. Ждал, когда он перестанет смеяться. А он не переставал, гад.

— Почему вам так весело? У меня стащили чемодан с вашим товаром! — крикнул я со злостью, представляя, как у него при этом вытянется лицо и отвиснет нижняя челюсть.

Художник оборвал смех. Мне слышалось его частое дыхание.

— Осел лопаухий! Разве я тебя не предупреждал, чтобы по телефону ни слова о деле?

— Извините, Самат-ага, однако...

— Сдается мне, ты еще не знаешь, кто обчистил твою квартиру?

— Если бы знать! Все перерыл. Нет нигде...

— Иди расцелуй своих дружков. Они из зависти могут тебя и в тюрьму упечь!.. До этого тебе не так-то далеко. Да, да, попомни мое слово!

— Не понимаю, Самат-ага. Объясните, пожалуйста...

— Какого дьявола ты ко мне прислал Орунбая? Этот тип, страдающий хроническим идиотизмом, не в состоянии вникнуть в суть нашего дела, не понимает добра, которое ему хотят... А ты-то наверняка знал, что он псих! Или ты, может, нарочно подослал ко мне помешанного, чтобы он меня уколошил?

— Что вы, Самат-ага...

— Я думал, раз уж ты прислал — так свой парень, с открытой душой к нему, карты свои раскрыл. А он на меня с кулаками. Паразитом обозвал... А потом появился вечером и при гостях — при гостях, представь себе! — запустил твоим злосчастливым чемоданом в мою голову. Не успею я нагнуться, пробил бы череп. Вот какие у тебя дружки, дорогой мой Дурды. Увидали, что у тебя завелась лишняя копейка, и за решетку посадить готовы. Разве не говорил я тебе, что единственный честный друг у тебя — это я. Скажи своему психу, пусть не вздумает бежать в милицию, как он здесь пробовал меня стращать: если меня схпают, я и тебя потащу. Так и скажи ему...

Я повесил трубку. Только теперь увидел, что у будки выстроилась очередь. В душе я радовался, что нашлась пропажа. Но Орунбай... Как он мог? Кто его просил об этом? Я его изобью, дурака!

Девушка, заметившая, что я кончил говорить, а все еще стою, нетерпеливо постучала в стеклянную дверь монетой. Я извинился, поспешно вышел из будки и чуть не бегом направился в общежитие.

Вахтерша Елена Степановна встретила меня приветливо:

— А, милый Дурды, здравствуй. Давненько не показывался. Как живешь?

Я показал большой палец — дескать, превосходно — и, не задерживаясь, прошмыгнул мимо.

Отворил дверь без стука, как свой человек. Ребята сидели за столом, обедали. Садык деревянным половником разливал щи в тарелки.

— Только истинные друзья приходят к накрытому столу! — закричал он, просяв. — Заходи, Дурдыхан, как раз на твою долю на дне кастрюли осталось!..

Я кивнул им, однако не перешагнул порога — поманил Орунбая пальцем.

— Меня? — переспросил тот, делая невинное лицо.

— Тебя, тебя, — закивал я, любезно улыбаясь и едва сдерживаясь, чтобы не разорвать его сию же секунду.

Орунбай вышел и плотно притворил за собою дверь. Он стоял, расставив ноги, уперев руки в бока, разглядывал меня настороженно. Мне очень не понравилась его вызывающая поза. Да еще ухмыляется, языком губы облизывает, а на губах застывает бараний жир. Лицо совсем не симпатичное. Но сейчас я его сделаю красавцем. Я замахнулся... Очень уж ловко Орунбай перехватил мой кулак у самого своего подбородка. Завернул мне руку за спину. Совсем не ожидал я от Орунбая, что он такой проворный.

— Спокойнес, хозяин! Если хочешь говорить, поговорим. Если хочешь рожки почесать, здесь не место, выйдем, там по-

бодаемся, — сказал он спокойно, однако еле приметная дрожь в его голосе не предвещала ничего доброго.

— Отпусти, клятвопреступник, предавший предков! Ты ломаешь мне руку, болван!

— Тебе не руку — голову надо сломать. Кстати, почему ты обзываешь меня клятвопреступником, хозяин?

— Ты же обещал никому не говорить ни слова о деле, которое я доверил тебе!..

— Ну и что? Разве я кому-нибудь сказал?

Орунбай отпустил мою занемевшую руку. Усмехнулся, высокомерно оглядел меня:

— Я сдержал обещание. О твоём, как ты выражаешься, деле никто ничего не знает. Пока ещё не знает, — сказал он, делая нажим на слове «пока».

— Перестань улыбаться, пока я тебе не расквасил рот, — процедил я, тоже подчёркивая «пока» и усилием воли удерживая кулаки в кармане. — Почему ты украл мой чемодан?

По лицу Орунбая пробежала тень. Брови сошлись на переносице, хищно раздулись и без того широкие ноздри.

— Выбирай выражения, хозяин, — сказал он, глядя на меня исподлобья. — Орунбай в жизни не сорвал яблока с чужого дерева. А чемодан я только вернул владельцу. Это был не твой чемодан...

— Ты хочешь опозорить меня перед ребятами!

— Если кто-нибудь этого хочет, то это ты сам, хозяин. А Орунбай не из таких. Орунбай перестал бы себя уважать, если бы ты сейчас оказался прав. Я верю, что ты все-таки порядочный человек, хозяин... Если хочешь удостовериться в прочности данного мной слова, зайди в комнату, поговори с ребятами, съешь тарелку щей за нашим столом...

— Я зайду. Я поговорю с ребятами. И щец похлебаю. Но прежде должен все же дать тебе в морду.

— Ты уже пытался это сделать, хозяин. Можешь попробовать ещё раз. Но прежде чем поступить так опрометчиво,

подумай хорошенько. Ведь Орунбай не дерево, у него тоже терпенье может кончиться...

Мы стояли грудь в грудь, дыша друг другу в лицо, пронизывая друг друга злыми взглядами, — со стороны, должно быть, напоминали двух враждующих петухов. Голубая набухшая жилка билась на виске Орунбая. Я подумал: если ударю в этот висок, отомщу сполна. Но тогда мы навеки станем врагами. Я разжал кулак и отступил. Орунбай осклабился, положил мне на плечо свою огромную тяжелую руку:

— Не надо, хозяин. Зачем нам ссориться? Орунбай три ночи не спал, все думал, как оправдаться, как объяснить тебе свой поступок, чтобы ты не обижался... И не придумал. Не могу объяснить. Взял вот и сделал. Не обижайся, хозяин.

В этот момент с шумом распахнулась дверь, из нее показалось розовощекое, лоснящееся лицо Садыка:

— Вы что, приятели, сватаете друг у друга сестер, что ли? Из-за вас мне придется щи снова подогревать.

— Заходи, — сказал Орунбай хмуро и подтолкнул меня к двери.

С ЧЕМ ПРИШЕЛ, С ТЕМ И УШЕЛ

Прошло совсем немного времени — и я ощутил цену заботливости Орунбая. Все реже заживал я в «Бахор», а чаще сидел за одним столом с нашими ребятами в студенческой столовой. Вот уже две недели не ходил в кино, чтобы сэкономить немножко денег на новую рубашку к празднику. И все же перед самой стипендией пришлось одолжить несколько рублей у тетушки Марьям.

Ох, Орунбай, Орунбай, ты спугнул счастье, которое я так крепко, казалось, держал в руках! Кто знает, повезет ли мне так в жизни еще когда-нибудь. Ведь я мог разбогатеть, пока кончу университет! Байраму написал, что устроился на хоро-

шую работу — не нуждаюсь в деньгах. Если он все же присылал немного, покупал им с Эджегыз подарки. И — на тебе! Все ухнуло в тартарары...

Не все ладно было и в университете. Преподаватель эстетики не хотел допускать меня к экзаменам, ссылаясь на то, что почти не видел меня на своих лекциях. Вот и приходилось теперь сидеть безвылазно дома — штудировать, конспектировать все пособия, которые он рекомендовал. Если преподаватель проснется утром в хорошем настроении, будет добр к нам и допустит меня на свой экзамен, все равно у меня есть основания полагать, что он постарается придраться ко мне.

И вот в такое-то время, когда свет казался мне не мил, на моем пути снова нежданно-негаданно появился Торе-усач. Пришел в ночную пору, когда все добрые люди спят. Пробудил во мне чувства, которые я всеми силами старался убить в себе, вернул воспоминания, что я гнал от себя прочь.

Я лежал в темноте с открытыми глазами, заложив руки за голову. Как кадры с детства знакомого фильма, прошли передо мной сцены всей моей жизни. Время словно остановилось. Даже наоборот — повело обратный счет минутам, часам, дням, уже прожитым мной. Я несколько раз подносил к глазам светящийся циферблат часов. Скоро начнет светать, а я все никак не могу уснуть.

Торе-усач тоже беспокойно ворочался — под его тяжестью охала и крякала кровать. А то начинал храпеть, переходил с одного тембра на другой. Когда его храп набирал полную высоту и становился невыносимым, я ударял по ножке кровати кулаком. Он умолкал, чтобы через несколько минут снова завести эту же песню, только с еще большим задором. «Странно устроена жизнь; не всегда справедливы обычаи народа, непостижим человеческий характер. Этому мерзкому типу, которого, может, больше всего ненавижу на свете, мне пришлось

уступить свою постель, потому что он пришел ко мне, он мой гость. А он принял это за должное, развалился, как у себя дома, и сопит в свое удовольствие. Почему, когда человек приходит к тебе с миром, не можешь встретить его грубостью?..» Мне вдруг неудержимо захотелось вскочить с места, потряхнуть Торе-усача, схватить за плечи, и, глядя в его зеленые, вытаращенные спросонок глаза, крикнуть: «Ну-ка, вставай, подлец! Poiщи себе другое место для ночлега. Забыл, к кому пришел? Что перед тобой сын человека, умершего по твоей вине? Забыл, как, презирая меня, не позволял своей дочери разговаривать со мной?.. Забыл, как разбил мне в кровь лицо из-за того, что я помог Донди принести ведро воды? А мне тогда пришлось соврать маме, будто я упал с дерева, чтобы не расстраивать ее. Ты, кажется, забыл все это, Торе-усач! А я все помню! И тому, что Донди, может, навеки стала несчастной, побывав в объятиях немилого, а нынче ушла из отцовского и из мужниного дома, тоже ты виной, Торе-усач!»

Но я не схватил Торе-усача за ворот, не рванул с постели. Мне стало жаль его, бесчувственно распластавшегося под ватным одеялом. Мне снова припомнилась мамина поговорка: «Пусть к спящему не войдет бодрствующий». Древний обычай предков одержал верх над злобой. Передо мной был теперь не тот Торе-усач с округлыми плечами, с холеными, задиристо торчащими кверху, пышными усищами, с выпуклыми, лоснящимися, как свежесвеженный чурек, щеками. Это был просто усталый, выбившийся из сил путник, который попросил у меня ночлега. Видать, жизнь крепко потрепала его. Ведь это, жизнь, трудно провести: она видит всякого, кто хочет жить не по ее законам, ищет лазейки, пользуется хитрыми способами, чтобы преуспеть. Но молчит она, жизнь, до поры до времени. Одаривает вначале мелкими подачками. Кое-кто из таких, может, и преуспевает сперва. Но потом уж начинает жить с оглядкой, бояться собственной тени, пока не измотается окончательно. Жизнь жестоко мстит тому, кто пожелал обма-

нуть ее, — ломает, кружит все, что он незаконно строил столько лет, обретал по крохам, отбирая у других, выбивает из-под ног ступеньки, куда взобрался по плечам, головам идущих рядом.

За окном забрезжил рассвет. Высоко в небе зазолотились под восходящим солнцем облака, похожие на хвост лисицы.

Мы встали, умылись на улице под рукомойником. Тетушка Марьям принесла крепко заваренный чай, варенья и слоеных лепешек. Она, видать, увидела в окно Торе-усача, когда он умывался, и поняла, что у меня гость. Хозяйка каждодневно прибирала в моей комнате, вычищала тумбочку, где я обычно хранил продукты. Она знала, что мне нечем угостить гостя, и поэтому позаботилась обо всем, не ведая, что перед Торе-усачом я мог бы и ничего не выставлять.

Торе-усач налил чай в пиалу, потом вылил обратно в чайник — чтобы лучше заварился. Придерживая на чайнике крышку, разлил мне и себе. Я ел слоеную лепешку, макая в варенье. Ждал, пока чай остынет. Торе-усач дул в свою пиалу, раздувая щеки и смачивая в чае усы.

— Дурдыхан, — сказал Торе-усач, осушив уже третью пиалу и потянувшись снова за чайником, — я вчера сказал тебе, что пришел с просьбой...

— Верно. Говорили.

— Я сказал, что Донди здесь, в Ашхабаде.

— Слышал уже.

— Вы были друзьями с ней.

Я усмехнулся.

— Вы правильно заметили — были.

— Ты всегда наставлял ее против меня. Поэтому я не хотел, чтобы она с тобой водилась.

Торе-усач в упор взглянул на меня из-под кустистых седеющих бровей, размазал тыльной стороной руки пот на лбу.

— Я не занимался ее воспитанием.

— Она всегда, если возражала мне в чем-нибудь, ссылалась на тебя: Дурды считает так, Дурды говорит этак...

Я поднял голову. Наши взгляды схлестнулись. Зеленые, колкие, чуть прищуренные глаза пронизывали меня насквозь. Я не отвел взгляда. Что он от меня хочет, этот человек, куда клонит? Я заметил, что пиалушка в руках у него дрожит. Волнуется, значит. Просто удивительно — Торе-усач, разговаривая со мной, волнуется.

— Она всегда слушалась тебя, — продолжал Торе-усач, зажав пиалушку в ладонях, будто грел руки. — Она и сейчас бы тебя послушалась... Очень прошу тебя, пойдти к ней, объясни, что не к лицу порядочной девушке уходить из дому. Она этим принесет лишь несчастье на свою и на мою голову... Если ты и вправду не знаешь, где она живет, я сведу тебя к ней.

Меня разобрал смех. Я громко захохотал. Чай из пиалы, что я держал в руках, пролился мне на колени. А я все хохотал, вздрагивая всем телом, расплескивая чай. И даже сам испугался своего смеха. Подумать только — он сам поведет меня к ней.

Торе осекся. Прикрыв глаза выпуклыми веками в красных прожилках, подождал, пока я успокоюсь. Потом заговорил, глухо и тихо, после каждой фразы останавливаясь:

— Пойми, что было, то прошло. Ведь теперь у нее муж, свое хозяйство... Я не щадил сил, здоровья, лишь бы у нее все было, лишь бы, когда я состарюсь и не смогу наполнять свой дом добром, она бы жила в довольстве...

— Вы же отец ей! И всегда были для нее земная ось. Вас она никогда не смела ослушаться! А если в чем-нибудь упрямилась, вы ее силой заставляли. Вот и повлияйте. Попробуйте силой — может, подействует...

— Дурды, мы не ровесники, чтобы ты ехидничал. Посмотри на мою голову, я уже седой. А пришел к тебе, чтобы просить... — Голос его дрожал, становился тише, казалось, вот-вот совсем исчезнет.

— Не ко мне надо было идти, а к ней! — сказал я.

— Эх-хе-хе! — вздохнул он и махнул рукой. — Был я

у нее. И уговаривать пробовал, и грозить. Ничего не действует — словно подменили мне дочку. Схватил было за руку, чтобы увести оттуда, — куда там!.. При подругах, при девицах, у которых помада на губах, заявила, что не нужен ей такой отец, который из света в темницу собирается ее упечь, из райского сада в ад тащит!.. Подруги ее, что тебе осиный рой, обступили меня, слова сказать не дают — с криками набросились, из других комнат набежали... На шум комендант общежития пришла. И та на меня... Уйти мне велела... Я для своей Донди жизни не жалел, а она вон какой оказалась, отца родного выгнала... — Мне почудилось, что Торе-усач всхлипнул. Потер кулаком покрасневшие глаза, шумно высморкался в платок. — Спасти ее хочу. Вот и пришел к тебе. Какой ни есть, да отец я ей. Добра ей желаю. Одна она у меня. Разве не счастье уготовливал я всю свою жизнь для родной дочки? Выдал замуж за богатого, родовитого, уважаемого в районе человека. Думал, внуки пойдут. А что мне еще на старости лет нужно, если не нянчить внуков и не видеть счастье дочери? Сколько добра за свой век накапливал для внуков, думал, и для Донди...

Почему меня так раздражает, что Торе-усач назойливо старается отождествить свое богатство и счастье дочери? Черт бы побрал этого усача! Мне хочется возразить ему, сказать, что добро — это еще не счастье. Но не могу. Какой-нибудь час назад я сам так считал. И был уверен в этом. Мне казалось, что смысл жизни в том, чтобы не испытывать ни в чем нужды. Неужели мы так слепы, что незаметно для самих себя можем сделаться Торе-усачами?..

— Зачем вы мне все это рассказываете? — спросил я с раздражением и резко встал. Стул грохнулся на пол. — Меня не интересуют ни вы, ни ваша дочка!

Торе-усач умолк. Как бы над чем-то раздумывая и не решаясь сказать, побарабанил по столу толстыми, похожими на сардельки пальцами. Не поднимая головы, зашелестел простуженным голосом, временами откашливаясь в кулак:

— Дурдыхан, ты должен понять, что память мне не изменила, как и тебе, и прийти сюда мне было нелегко. Нужда привела. Ты — моя последняя надежда. Только ты сможешь ей объяснить. Тебя она послушает. Если она от тебя узнает... услышит из твоих уст, что ей лучше вернуться к мужу, она вернется, пойми ты это. Наставь ее на верный путь, пока она вовсе не заблудилась. Очень прошу тебя. Ведь ты уже взрослый, и мы можем говорить как мужчина с женщиной. У тебя здесь, я уверен, на примете не одна красивая девушка. Скажи об этом Донди, пусть не надеется...

— У меня никого нет, — отрезал я, поставил стул и снова сел.

— Не надо мне врать, Дурды. У такого видного парня, как ты, не может не быть до сих пор невесты. Будь со мной откровенным, как я с тобой. Ведь ты уже не тот наивный мальчик, для которого на одной смазливой девке свет клином сошелся. Ты теперь знаешь, что сперва надо потуже набить кошель, а потом уже обзаводиться семьей. И, наверно, в душе благодаришь меня: ведь не вмешайся я тогда, ты был бы опутан по рукам и ногам заботами о семье, наплодили бы вы оборвышей, и вряд ли тебе удалось учиться... А теперь ты узнал цену жизни. Стал мудрым. И я, аксакал, могу с тобой говорить как равный с равным...

«К себе приравнивает. Стяжательство возводит в мудрость. И я не могу возразить. Обругать сейчас Торе-усача — значит, обругать самого себя. Проклятье!» Я чувствовал себя как в парной. Пил остывший чай и потел. Не находил слов, чтобы с презрением бросить их в лицо низкому человеку, и от этого злился еще больше.

Пальцы-сардельки снова заплясали на скатерти. Торе-усач сидел, задумавшись, опустив глаза. Но я заметил за его ресницами зеленоватый блеск и понял, что гость внимательно следит за мной.

— Дурдыхан, ты знаешь, у нас принято за добро отплачивать добром. Я пришел просить тебя сделать доброе дело —

вернуть заблудшую женщину под родной кров. Я отблагодарю тебя, будь уверен. Да что я говорю о благодарности — я обязан тебе многим. Твой отец был мне другом, и я перед ним в неоплатном долгу. И кому, как не мне, помочь его сыну справить свадьбу как подобает настоящему джигиту. А пока ты в Ашхабаде, милый мой, тебе не мешает обзавестись кое-какими вещами, не в пустой же дом ты привезешь невесту. Я оставлю тебе денег на первое время, купишь пару ковров...

— Вы однажды уже продали Донди! Хотите во второй раз? — закричал я. Вскочил с места и забежал по комнате.

Торе-усач, сохраняя спокойствие, укоризненно покачал головой:

— Ай-яй-яй, Дурдыхан, ну почему ты так неправильно все понимаешь?..

— Мне сейчас надо готовиться к экзамену! Оставьте меня! Я должен заниматься! — Я еле сдерживался, чтобы не схватить чайник и не разбить его вдребезги о голову этого человека.

Торе-усач выпрямился, словно проглотил аршин, шумно задышал. Смотрел на меня изумленно, словно гадал, не ослышался ли. Затем горькая усмешка скривила его рот.

— Весь в отца, — сказал он. — Для него тоже были ничто наши обычаи. За мою жизнь меня дважды выгоняли из дома: твой отец и ты...

— Но теперь у вас руки короткие, — отрезал я. — До меня не дотянетесь.

Торе-усач больше не произнес ни слова. Неторопливо вышел из-за стола, снял с вешалки пальто. Оделся. Нахлобучил шапку до бровей, презрительно взглянул на меня и вышел, оставив дверь неприкрытой. Я с треском захлопнул дверь. Со двора доносился хруст снега под тяжелыми, медленно удалявшимися шагами.

В воскресенье я собирался проштудировать конспекты по английскому, которые выпросил у Энегуль всего на один день. Встал до восхода солнца. Включил свет, сделал зарядку с гантелями. Сел к столу, раскрыл тетрадь. Премного здоровья тебе, Эне! Она подробно и очень понятно записала все лекции. Не знаю, сколько времени я просидел за ее конспектами.

Хозяйка принесла чай. Позавтракав, я вышел в город. Все эти дни меня преследовала тревога. Словно жду чего-то, словно вот-вот что-то должно случиться. К добру ли, к худу ли — не знаю. Говорят, так бывает перед душевным заболеванием. Только этого мне не хватало.

Чтобы немного развеяться, я бесцельно ходил по городу, с каждым днем все больше ощущая необходимость встреч, разговоров, близости с людьми; мне хотелось вернуться в общежитие. Но разговор об этом с ребятами я откладывал, опасаясь, что теперь уже они откажутся меня принять.

Я вышел на проспект Махтумкули, заглянул из любопытства в магазины. У кинотеатра выстроилась длинная очередь. Я тоже стал было, потом раздумал идти в кино. Перешел на другую сторону улицы и медленно пошел обратно. Девушки, идущие навстречу, удивленно вскидывали брови, другие склоняли голову, краснея. Я поймал себя на том, что чересчур уж внимательно к ним присматриваюсь... Уже второй раз сегодня прошел мимо общежития педагогического училища, где жила Донди. Не знаю, как это случилось, ноги сами несли меня туда. Но, едва поравнявшись с широким подъездом пятиэтажного розового здания с мраморной лестницей и алебастровыми вазонами, я невольно ускорял шаг. Но, когда удалялся на почтительное расстояние, какая-то сила заставляла меня снова повернуть обратно. Не знаю, на что я надеялся. На случайную встречу с Донди? А что я ей скажу? Что ко мне приходил ее отец и после этого я решил навестить ее? Стану уго-

варивать, чтобы она вернулась к мужу?.. Каким глупым и беспомощным, должно быть, покажусь я ей!

К остановке подошел троллейбус. Я прыгнул в него и поехал домой.

Войдя во двор, я увидел на веревке, протянутой между заснеженными персиковыми деревьями, скованные морозцем мои рубашки, майки и трусы. «Тетушка Марьям, пока я гулял, потрудились, — решил я. — Надо будет старушке сказать, чтобы в мое отсутствие не затевала таких больших стирок. Ей, по крайней мере, раз пять пришлось сходить по воду к колонке. А она не очень-то близко, колонка эта. И вокруг нее вода смерзлась буграми — можно поскользнуться и разбиться насмерть».

Я отпер дверь и вошел в комнату. Не сразу понял, что изменилось в комнате, но она была какой-то другой. Ага, пол вымыт и блестит, точно отполирован. Книжки собраны со стола, с пола и аккуратно сложены на полках. Кровать, которую я, хорошо помню, оставил неубранной, преобразилась, будто к ней прикоснулись руки волшебницы: постель аккуратно сложена, накрыта покрывалом, подушка взбита — стоит пухлой треугольной пирамидой. Ясно, здесь кто-то побывал. Хозяйка при всем старании столько работы сразу не проделает — возраст не тот. Я решил пойти к тетушке Марьям и расспросить ее. Шагнул было к дверям и встретился с ней на пороге. Она загадочно улыбалась.

— Приходили к тебе две девушки. Красивые. Говорят, ты у них тетрадку какую-то брал. Хотели вместе с тобой позаниматься, да тебя дома не оказалось. Я думала, ты скоро вернешься, отперла твою комнату, чтобы они подождали — не на холоде же им стоять, — и ушла к себе. Ждали они тебя, ждали да и затеяли эту уборку. Пришла одна ко мне, ведро попросила, таз взяла... Хорошие девочки. Мне они понравились. Видишь, в какую игрушку комнату превратили.

— Это, наверно, Энегуль с Гульнарой, — предположил я.

— Они и есть. Обещали еще прийти, погладить все, когда

просохнет. Вот бы одну из них тебе в невесты! Я бы сватьей заделалась.

— На одну не согласен — обеих сразу, — сказал я.

Повесил пальто на вешалку и, упав на кровать, задрал ноги на спинку. Старушка укоризненно покачала головой, вышла, потихоньку притворив за собой дверь.

«Девочки, кажется, начинают меня жалеть», — подумал я. Это говорит не в мою пользу. Неприятно, когда ты достоин жалости. Конечно, разве они не замечают, что я хожу в последние дни как в воду опущенный? Рубашки на мне будто изжеванные, не поймешь какого цвета. Словно я в них уголь грузил. Некогда было своим туалетом заниматься — работал. В последнее время бросал в чемодан ношеную рубашку, выбирал из кучи ту, что почище. Мне сделалось не по себе, когда представил, как девчонки перебирают мое заношенное белье. Черт их принес! Кто их просил порядок у меня наводить! За собой бы смотрели. Сейчас жалеют. Потом высмеивать начнут. Ты же не хочешь стать посмешищем среди своих сокурсников, братец Дурды? Надо взяться за себя серьезно, нельзя так опускаться. Подумаешь, у кого не бывает неприятностей. Дружат с детства, потом расстаются, влюбляются в других. Такова жизнь, как говорят французы.

Я опустил занемевшие ноги на пол, закрыл глаза. Слышал, как открылась дверь и кто-то вошел, долго и старательно вытирал о тряпку ноги: иначе теперь грех ступить в мою комнату. Я чувствовал, что кто-то приблизился ко мне. Видать, я уже вздремнул, потому что никак не мог открыть глаз, пока не ощутил толчков в плечо. Около меня, улыбаясь во все лицо, стоял Ораз. Я сел и потянулся зевая.

— Мы сегодня идем в театр. Взяли билет и тебе. Если хочешь, пошли, — сказал Ораз.

— У меня нет денег на ваш билет, — пробурчал я.

— Что за разговор, хан! Мы же не исключили тебя из нашей коммуны! — засмеялся он. — Хотя, прямо сказать, ты того заслуживал.

Я помедлил с ответом, чтобы не выдать распирающего меня восторга и не уподобиться ребенку.

— А на какой спектакль? — спросил я как бы между прочим и снова зевнул, прикрыв ладонью рот.

— Приехал Ленинградский оперный театр. Дают «Иоланту». Говорят, прекрасная вещь!

— Что ж, пошли, — сказал я, направляясь к вешалке за пальто.

— В таком виде? — спросил Ораз, смешавшись.

— А по-твоему, надо обязательно нацепить «бабочку»? — съязвил я и, оттянув двумя пальцами его галстук-«бабочку», шелкнул его по кадыку.

Брось свои глупые штучки! — возмутился Ораз, пунцовая. — Скорее переодевайся, мы можем опоздать.

Я вытянул из-под кровати чемодан и раскрыл его. Вот ведьмы! Ни одной рубашки не оставили.

— Придется тебе подождать, пока поглажу, — объявил я и, выдвинув ногой из-под стола табуретку, подтолкнул ее к Оразу.

Контролер, проверив наши билеты, показала места. Свет в зале уже погасили, люди торжественно притихли. Едва мы сели, вступил оркестр. Огромный бархатный занавес заколыхался и пошел в стороны. На сцене стоял средневековый замок. Настоящий, из глыб серого гранита, с грозными башнями, с могучими стенами, в которых зияли бойницы. Я впервые был в опере. Вскоре я и вовсе позабыл, что предо мною всего лишь декорации. Восторг и волнение охватили меня...

Иоланта... Молодая девушка, красавица, резвится в кругу подруг возле бассейна. Из раскрытых пастей каменных драконов бьют вверх серебристые струи воды, звеня, падают в бассейн... Иоланта играет со сверстницами на лугу, плетет веночки из полевых цветов. Она слышит жаворонка в небе, чувствует, как сладостно пахнут цветы, но не знает, какие

они, как выглядят, какого цвета. Она разговаривает с придворными, но не видит их. Она даже и не догадывается, что их можно видеть, считая, что все люди такие же, как она... Чтобы Иоланта не узнала невзначай о своей слепоте, ее держат в отдельном роскошном дворце, специально для нее выстроенном, и вся прислуга, все придворные живут одной лишь заботой — девушка не должна узнать о настоящей жизни. Иоланта живет, не зная, что такое небо, река, лес. Ее мир — пределы дворца.

Вдруг я вспомнил Донди. Я почему-то подумал, что между Иолантой и Донди много общего. Из-за слепоты Иоланта не может увидеть света. Донди тоже жила все время как слепая. Отец держал ее взаперти. Самое большое, что могла тогда знать Донди, — это школа, наш канал, по берегу которого она проходила, и дом, такой же глухой и мрачный, как замок.

Зал наполнился музыкой, похожей на бурю. Вот храбрый рыцарь Роберто случайно оказался во дворце Иоланты. Он поражен красотой девушки, он страстно полюбил ее. Юношу мучит сознание, что Иоланта слепа и даже не знает этого. Роберто пытается познакомить свою любимую с подлинной красотой мира. Взволнованно рассказывает ей, как выглядит небо, как ярко солнце, как чарующи лес, река... Он обрисовывает ей словами все, чего она до сих пор не знала... И она словно бы прозрела, словно увидела и мир, и его самого, Роберто...

Когда Донди было трудно, ей тоже, наверно, должен был помочь такой отважный юноша, а ведь я и пальца о палец не ударил, чтобы вызволить Донди, спасти от тирании отца, от потемок предрассудков. Сейчас я самому себе казался простым ничтожеством по сравнению со сказочным Роберто, еще не понимая, что это искусство так возвышает нас над собой.

Когда мы вышли из театра, уже стемнело. Витрины магазинов светились неоновым светом. Крупными хлопьями падал снег. На остановке собралось много народу, мы не стали

ожидать троллейбуса, пошли пешком. Садык был задумчив. Он то и дело покачивал головой и восхищенно щелкал языком:

— Ах, какая девушка! Ни за что не женюсь, пока не найду такую.

— Проживешь свой век бобылем, — заметил, смеясь, Ораз.

— Ты лучше позаботься о своей прическе, которая что ни день все редет, — съязвил Орунбай. — Скоро за тебя и старая дева не пойдет.

— Жаль, что только в сказках такие бывают, — продолжал задумчиво Садык, не обращая внимания на шпильки. Он, кажется, тоже влюбился в Иоланту.

— Почему? В жизни тоже встречаются, — сказал я. — Ведь все, что мы увидели, все чувства, все счастье переданы нам реальными людьми, актерами...

— Они играют. А в жизни? В жизни ты встречал таких чистых и стойких девушек? — не унимался Садык.

— Встречал, — сказал я.

— Да? И можешь показать нам?

За разговором мы не заметили, как прошли несколько остановок. На морозном воздухе дышалось легко, снежок похрустывал под ногами. Здание, мимо которого мы шли, показалось мне удивительно знакомым. Да я ведь утром несколько раз был здесь. Только лестница у подъезда сейчас выбелена снегом, а вазоны по краям, переполненные пушистым зимним пухом, напоминали невесомые шары одуванчиков. Окна всех пяти этажей ярко светились. Интересно, за которым из них Донди? Неожиданно для самого себя я дернул Ораза за рукав пальто:

— Не зайти ли нам в этот замок?

— Это же бабское общежитие, — заметил Орунбай.

— У тебя здесь знакомая? — осведомился Ораз.

— Здесь живет моя Иоланта, — объявил я.

— Это та, которую так долго прячешь от нас? — спросил Орунбай.

— Зайдем, — согласился Садык. — Может, и я здесь встречу свою Иоланту.

Ораз пожал плечами:

— Я давно не был в женской компании. Мне нравится твое предложение, малыш.

Мы узнали у вахтера, в какой комнате живет Донди. Оставили студенческие билеты и поднялись по лестнице на третий этаж. Мы шли по длинному коридору, застланному дорожкой. Чем ближе я подходил к нужной нам двери, тем громче отдавались в груди удары моего сердца. Мы остановились. За дверью слышались громкие девичьи голоса, смех. Ребята смотрели на меня. Отступить было поздно — я постучал. Сразу несколько голосов откликнулось:

— Да, да, войдите!

Я открыл дверь и, жмурясь от яркого света, остановился на пороге. Две девушки, сидя за круглым столом, читали. Одна гладила, пристроив на тумбочке гладильную доску. Еще одна, в домашнем халатике, лежала на кровати и рассматривала «Экран», а увидев нас, тотчас поднялась, оправив халат. Видимо, девушки не ждали гостей. Разговор их прервался. Они смотрели на нас удивленно, потом переглянулись.

Ребята столпились за моей спиной. Ораз подталкивал меня в спину, ворчал на ухо:

— Заходи. Чего застрял в дверях?

Девушка в бордовом вельветовом платье, что сидела за столом и с улыбкой смотрела на меня, подперев щеку рукой, отодвинула книгу. Потом медленно встала и, подойдя ко мне, сказала:

— Здравствуй, Дурды.

Наконец я узнал Донди. В моем представлении она по сей день оставалась маленькой худенькой девчонкой с прямым пробором на голове и с двумя жидкими косицами. А это была совсем иная Донди. Искрящиеся от света косы уложены кольцом вокруг головы. От длинных ресниц падала тень на глаза, и они, темно-зеленые, казались бездонными, словно

океан, излучали тепло и нежность. Чуть уловимая усмешка во взгляде. Платье строго облегло красивую фигуру Донди. Я стоял растерянный. Мои щеки пылали, словно их только что натерли снегом. Должно быть, я выглядел очень смешным в эту минуту.

Донди улыбнулась и повторила, протянув руку:

— Ну, здравствуй же.

Я задержал ее руку в своей и подумал, что и голос у нее изменился: стал немножко гуще, бархатистее.

— Здравствуй, Донди, — проговорил я, с трудом проглотив комок, застрявший в горле.

— Девочки, это ко мне, — сказала она, обернувшись к подругам, и пригласила: — Ребята, проходите, что же вы не заходите? Знакомьтесь, это мои подруги.

Спустя несколько минут мои ребята уже чувствовали себя как дома. Одна из девушек взяла чайник и пошла на кухню ставить чай. Садык вызвался ей помочь и заторопился следом.

Орунбай взялся помогать другой девушке чистить картошку. Ораз наклонился ко мне:

— Не та ли это, с которой ты однажды собирался нас познакомить. Помнишь?

— Ага, она самая, — подтвердил я смеясь.

— Тогда сбегая-ка я на улицу да одолжу кое-чего у Деда Мороза.

Ораз и Садык столкнулись в дверях и чуть не расшибли друг другу лбы.

— Ты куда? Ошалел, что ли?

— Принесу растопленного солнца, чтобы расцветить наше знакомство!

— А-а... — протянул Садык, и тревога исчезла с его лица. Ему совсем не хотелось уходить теперь так скоро.

В дверях появилась девушка и сказала, глядя на него с упреком:

— Ну, Садык, я тебя послала за ножом, а ты пропал без вести...

Донди сидела напротив. Положив локти на стол, подперла подбородок ладошками и внимательно смотрела на меня. В ее пристальном взгляде я читал и затаенный упрек, и сомнение, и нежность. Я опустил глаза, боясь, что сейчас, вот сию минуту, Донди напомнит мне мою великую вину перед ней. Но Донди улыбнулась совсем как прежде, сверкнув ровными жемчужно-белыми зубами. И я робко протянул над столом к ней руки. Она осторожно положила свои теплые ладошки в мои.

— Я знала, что ты придешь, — сказала Донди.

Она знала обо мне то, чего не знал я сам.



**НОЧИ,
НОЧИ...
ДЕНЬ**

НОЧИ, НОЧИ...

Ночь... Я слышу ее звучание, подобное музыке, которая го будоражит душу, то вдруг заставляет затаить дыхание, будто в лицо хлестнул горячий ветер. Я стою на балконе и смотрю, как гаснут постепенно огни, исчезают во тьме окна. Кажется, что на том месте, где они только что сияли, теперь нет ничего. И домов нет. Их растворила в себе ночь. И вернет людям, если... если наступит утро.

Только вон вдалеке чуть затеплился огонек. Кому сейчас продлевает день тот слабый свет? Может быть, там сидит за столом ученый и, водрузив на нос очки, ломает голову над проблемой, решение которой нужно моему городу?.. Или при свете настольной лампы именитый писатель поставил точку в конце своего прекрасного произведения?.. А может, при свете этого огонька такой же парень, как я, простой работяга, именуемый людьми Его Величеством нашего солнечного края, под гул станка вытачивает нужную деталь, без которой не обойтись ни трактору, ни самоходу-луннику?.. Или сидят у огонька двое влюбленных? А может быть — кто знает? — при этой лампе обиженное мной или кем-то другим сердце готово выскочить из груди человека, который на чистую белую бумагу наносит порочащие кого-то слова... И как-то тусклее становится при этой мысли огонек. Я отвожу взгляд от него и ступаю в свою комнату. Ребята уже давно спят. Я не вижу их, только слышу дыхание. Кто устает днем, засыпает быстро. А у нас нагрузка двойная — после работы вечером надо еще

успеть и в институт. Это меня одного в последние дни замучила бессонница. То выхожу на балкон покурить, то брожу по коридору как лунатик. А потом сажусь за стол и начинаю писать. Нет, не роман и не повесть — я не писатель. Письмо пишу. Своему брату. Длинное получается письмо.

Я ощупью пробираюсь к столу посередине комнаты, включаю настольную лампу. На потертую клеенку падает яркий круг, высветив исписанные листки бумаги. Уже несколько дней — вернее, ночей — я пишу это письмо. Я и не подозревал, что на душе у меня столько невысказанного, что всего не уместить на одном листке бумаги. Некогда было об этом задумываться. А вот пришла от брата телеграмма — и всплыло все в памяти, будто вчера происходило.

Я придвинул стул и сел, постарался сосредоточиться. Тихо, еле слышно и убаюкивающе льется музыка из репродуктора. Я не выключаю его до двенадцати. Когда в полночь, по окончании передач, в нашем репродукторе раздается: «Спокойной ночи, товарищи!» — я невольно задумываюсь, сколько же раз, на скольких языках каждую ночь звучат эти слова. Как молитва перед сном. Как заклинание. Стало ли от этого спокойнее на земле? Вряд ли. Может, не все говорят эти слова своим близким? Или, сказав, сами занимаются делами, от которых никому вокруг нет ни сна, ни покоя?

Я о людях привык судить по себе. Что мне надо от жизни, строителю-трудяге?.. Каждый вечер, когда ребята засыпают, я выхожу на балкон. Смотрю на огни моего родного города. И, обращаясь ко всем знакомым и незнакомым, живущим в нем, говорю: «Спокойной ночи, товарищи!» Я не произношу этих слов. Мои губы неподвижны. Это говорит мое сердце. Я никогда не мог, говоря одно, делать другое. И людям желаю спокойствия — настоящего. Прежде всего желаю тем, кто живет в домах, построенных моими руками. Словно все они — мои родственники. Я уверен, что эти люди отнеслись бы ко мне так же. Представляю — стоит мне зайти в любую квартиру и сказать хозяевам, что я строил этот дом, как на их

лицах тотчас появятся приветливые улыбки, они пригласят меня и усадят на самом почетном месте, как уважаемого родича. Я еще ни к кому не заходил, но уверен, что в точности так оно и будет.

Что нужно строителю? Чтоб стояли его дома веки вечные. Чтоб не коснулась их ничья злая, разрушающая рука.

Наверно, произнося слова добрых пожеланий, мои многочисленные друзья и родственники упоминают и мое имя. И я жил до сей поры спокойно. Пока две недели назад не принесли мне эту телеграмму... Работал себе на стройке. И на целый день хватало радости оттого, что мне подвластен могучий башенный кран. На душе бывало празднично, если удавалось получить хорошую оценку во время сессии. А чтобы заслужить ее, вечера приходится проводить в библиотеке. Сейчас главная забота — сдать получше экзамены. А старший брат приглашает на той. Но, по правде говоря, не из-за сессии мне не хочется к нему ехать. Я не люблю вилять: решил ему ответить письмом. Объясню, почему не могу быть на его тое.

Чтобы продолжить письмо, я стал перечитывать написанное.

РАЗДУМЬЯ ПЕРВОЙ НОЧИ

...Множество мыслей, словно стая черных воронов, несутся, кружатся надо мной. Когда закрываю глаза, в ушах звучат их пронзительные крики. И только напрягши внимание, начинаю выхватывать из их нестройного хора какие-то человеческие звуки, которые складываются постепенно в слова. Чувства обрушились на меня гигантской волной, желая выплеснуться разом на бумагу. Но я вынужден черпать из этой волны лишь кончиком пера — и вот пишу тебе письмо, мой старший брат Аннам.

Когда я был еще босоногим мальчишкой и, не зная уста-

лости, весь день бегал под солнцем с непокрытой головой, обшаривая сады и огороды, а в светлые, как молоко, ночи играл со сверстниками в прятки и плелся домой, только если одолевал сон, а утром чуть свет, еще в полудреме, собрав свои книжки и тетради и порой даже не позавтракав, отправлялся в школу, — тогда мне не приходило на ум ломать голову, в чем разница между старшим братом и младшим. Я лишь крепко знал, что не должен заставлять тебя повторять мне одно и то же дважды. Мне казалось, что я и живу для того, чтобы подражать во всем старшему брату, слушаться, исправно выполнять его волю.

Как-то раз, помню, Нурли привез с базара велосипед. Понятное дело — на базаре нового не купишь. Но хотя он был совсем не новым и во многих местах с него стерлась краска, а педали скрипели так, что думалось, не грызет ли их кто-нибудь зубами, для меня все же не было в мире машины быстрее и выносливей этой. Если иногда мне удавалось прокатиться на нем, счастью моему не было предела. Жаль только, такое счастье мне выпадало редко. Ты по праву старшего с первого же дня завладел велосипедом как единственный хозяин. Я не возражал. Мне бы только иногда прокатиться.

Когда ты, трезвоня повсюду, носился на велосипеде по улицам поселка, мальчишки завидовали тебе. Каждый из них мечтал о времени, когда у него тоже будет такой же велосипед: с дребезжащими крыльями и скрежещущими педалями, благодаря которым все заранее знали, что сейчас из-за угла покажется Аннам. И ко мне мальчишки стали относиться лучше, зная, что это ты, мой брат, едешь на велосипеде. Если где-нибудь заходил о тебе разговор, то слушатели уточняли: «Это ты говоришь о том джигите, у которого есть велосипед?» И я тоже, мой старший брат, кажется, именно в те дни стал внимательнее присматриваться к тебе, чтобы перенять твои повадки, манеру разговаривать, походку. Мне хотелось во всем стать похожим на тебя.

Только наша бедная мама, видя, как ты разъезжаешь по поселку и окрестным дорогам, забыв о делах, которых полным-полно набиралось дома, пока ты был на учебе, вздыхала и озабоченно говорила: «Вах, сыночек, как бы ты не упал и не расшибся!.. Тебе скоро снова уезжать на учебу, помог бы ты Нурли управиться по хозяйству».

Когда ты ставил велосипед подле окна и заходил в дом, для меня не было высшей награды, чем вытирать тряпицей пыль с ободов, рамы, вмятины на которых хотелось нежно потрогать, как раны на живом теле. Случалось, воспользовавшись твоим отсутствием, я выводил велосипед за ворота. Мои ноги едва доставали до педалей. Я мчался, подставляя лицо ветру, и напевал озорную песенку:

Эй, Хайдар, — покровитель ветра!
Не дуй так сильно, прошу!
Если толкнешь незаметно,
Ей-богу, в седле не усिжу...

Однажды, отдавшись воле своего двухколесного скакуна, я не заметил, как на землю пали сумерки. Я вспомнил, что ты, Аннам-ага, по всему, давно уже дома и наверняка хватился велосипеда, и обнаружил его отсутствие. И, должно быть, грозишься сломать мне шею. А если собирался куда-нибудь поехать, то вообще плохи мои дела...

Я нажал сильнее на педали. Выехал на знакомую дорогу и свернул в сторону поселка. Вскоре сумерки сгустились и обволокли меня такой тьмой, какая редко бывает летом в наших краях. Попробовал включить фару — она не загоралась. На несколько шагов впереди себя я еще видел... Только бы не вздумалось кому-нибудь другому, такому же сорвиголове, как я, поехать мне навстречу. Но дорога была гладкая, песок шуршал под колесами, я все сильнее разгонял велосипед. В том-то и есть самое большое удовольствие при езде на велосипеде, что на нем можно передвигаться во сто крат быстрее, чем пешком. И вдруг — я не могу сообразить, как

это случилось, — меня подбросило кверху, а велосипед, блеснув серебристыми рогами, отлетел в сторону. Я только успел заметить, как переднее колесо, скользя, провалилось в колдобину, оставленную колесом арбы еще весной, когда шли дожди. Перекувырнувшись дважды — один раз в воздухе, другой на земле, — я тут же вскочил и бросился к велосипеду. Даже не обратил внимания на нестерпимую боль в локте. И на то, что голова вся в пыли, а в рот и в нос набилось песку. Испуганно ощупал велосипед. И едва не заплакал от восторга, когда убедился, что он цел-целехонек. Чуть не начал плясать вокруг него вприпрыжку и тут заметил, что не могу пошевелить правой рукой. Меня это враз остудило. Одной рукой мне никак не совладать с велосипедом, и двумя-то я его едва удерживал. Схватившись за локоть, я дал волю слезам и сел на обочине в надежде, что, может, кто-нибудь пойдет мимо. Случится добрый человек, который поможет дотащить велосипед до поселка или, по крайней мере, завернет к нам домой и скажет, где я нахожусь.

Не знаю, сколько я так просидел. Услышав чьи-то шаги, торопливо вытер глаза рукавом и встал. Вижу, идешь ты, мой брат. Я сразу узнал тебя. Ты подошел. Молча поднял велосипед. Вроде бы сердит на меня и вроде бы жалеешь. Я стою рядышком понурый, готовый ко всему, но больше всего желая услышать: «Поехали, садись на багажник!» Ты повозился с динамиком, что-то щелкнуло у тебя под рукой. Потом, взявшись за руль, ты разбежался и прыгнул на велосипед, как на разгоряченного скакуна. Помчался в сторону села. Перед тобой ложился полукруг желтого света от маленькой фары, светившей тебе, своему хозяину. Я припустился бегом следом за тобой, только пыль летела из-под моих босых ног.

Я вошел во двор и первое, что увидел, — ты при свете, падающем из нашего окна, выпрямляешь погнутый руль. Я бесшумно прошмыгнул мимо и тут же залез под одеяло, отмахнувшись от предложения мамы поужинать. И притворил-

ся спящим. Решил про себя, что сейчас лучше не показываться тебе на глаза. Старался не двигаться, хотя никак не мог уснуть из-за ноющей боли в локте.

РАЗДУМЬЯ ВТОРОЙ НОЧИ

За всю ночь я не сомкнул глаз. Не столько потому, что разболелся локоть, сколько от мысли, позволит ли брат мне еще кататься на велосипеде. Я встал даже раньше мамы и вышел на улицу. Моя распухшая рука не помещалась в рукаве. Но я решил терпеть и молчать, чтобы не накликать на свою голову еще больших напастей. Мама если не отругает, то к врачу уж поведет как пить дать. А там не знаешь, как все обернется: начнут руку крутить и так и этак, еще больнее станет. Не находя себе места, я сновал по двору, заходил в дом, снова выходил, выглядывал за калитку, будто оттуда могло прийти успокоение.

Мама приготовила завтрак. Я поел и решил пораньше уйти в школу. Желал хотя бы до полудня избежать объяснения с тобой, мой брат. Потихоньку зашел в дом и начал складывать свои книжки в портфель. И тут услышал твой сердитый голос:

— Мама, ты скажи этому оболтусу, пусть моих вещей не трогает. Сам с вершок, а суется во все дела, как передние ноги козы. Что ни положишь, не найдешь на месте. А вчера вечером изуродовал мой велосипед. Пусть больше не трогает велосипед, а то по шее получит.

Пожалуйста, я согласен был всякий раз получать по шее, лишь бы трогать велосипед. Хотел было сказать маме что-нибудь в свое оправдание, но мама, с самого начала считавшая этот велосипед источником наших распрей, сама вступилась за меня:

— Отдай кому-нибудь эту свою богомолку! Чтоб глаза мои ее не видели. Носишься по поселку как шальной. По тебе

скажешь разве, что ты в институте учишься? Соседи жалуются вон, что ты их кур передал. У тебя разве другого дела нет летом, кроме этой чертовой арбы? Поехал бы как-нибудь с Нурли в пойму речки да сена накопил для коровы на зиму!

— Летом нам даны каникулы, чтобы отдыхать, — сказал ты и засмеялся.

Но твой взгляд, нацеленный на меня, красноречиво говорил, что попадись теперь я тебе где-нибудь, получу не одну оплеуху.

Тогда в разговор вмешался Нурли. Видимо, заметив, что я убит горем, он положил пиалу боком на дастархан — то значило, что он уже напился чаю, — и, покачав головой, укоризненно сказал:

— Ай-яй-яй, Аннам, видимо, ты так и не излечишься от себялюбия. Ну прокатился Дадели, что тут плохого? Я-то купил велосипед, думая, что вы оба будете ездить на нем. А вы... Эх, Аннам, Аннам, нехорошо ты поступаешь! Я старше вас обоих, и вы оба родные мне. Кроме вас, мне больше не на кого радоваться, нечем гордиться... Малыш остается малышом, нельзя с ним так строго... Ну свалился разок, подумаешь, не всегда же он будет падать. А ты из-за пустяка готов обидеть братишку. Ай-яй, не нравится мне твое поведение, прямо скажу...

— Тебя, Нурли-ага, как я погляжу, все мои поступки раздражают. То не так, это не так. Ты просто сердишься, что во мне течет кровь не совсем та, что в тебе. Я тебе чужой...

— Замолчи! — прикрикнула мать, и ты не договорил того, что хотел сказать.

Но я сомневаюсь, что недосказанное было чем-то приятным.

Нурли молча встал и ушел на работу.

Ты опустил голову. Тебе стало стыдно и нечего было сказать. А из моих глаз хлынули слезы, которые я так долго старался не выпустить на волю. Не оттого, что у меня бо-

лела рука, вовсе нет. Мне сделалось обидно, что ты нашего старшего брата назвал чужим. Уподобясь отцу — пусть пухом ему будет земля! Я был ребенком и многого тогда не понимал еще. Не знал, что отец не любил Нурли за то, что он был рожден от другого отца, погибшего на войне. Помню, в нашем доме я всегда слышал, особенно во время ссор матери с отцом, слова «родной» и «неродной». Да, сейчас ты назвал чужим себя, но знал, как это больно ранит Нурли. Потому что всегда, указывая на нас с тобой, отец и его родня говорили «родной». А называя имя Нурли, говорили «неродной». Ты был любимцем нашей многочисленной родни, в тебе души не чаяли, ни в чем никогда тебе не отказывали. Ты к этому привык. И если даже мне дарили что-нибудь, ты эту вещь быстрехонько присваивал...

На улице от людей мне часто приходилось слышать: «Халат не халат, если у него другой ворот. Не братья те, у кого разные отцы». Тем разговорам я не придавал значения. Да и, по правде говоря, не понимал, к чему они. А тебе, видать, такие слова крепко запали в сердце.

Я очень любил Нурли, ты это знаешь. Когда отца не стало, я был совсем маленький. Он меня носил на руках, баюкал. Когда я стал постарше, то часто думал: «Как бы мы жили без Нурли?» Он работал как вол и все приносил в дом. С ним мы не чувствовали, что у нас нет отца. Я уверен, ты тоже об этом подумывал.

Нурли всегда вставал на зорьке. Надевал свою шуршащую брезентовую куртку, обтертую на сгибах, линялую ушанку из шакальего меха, растоптанные кирзовые сапоги и, наскоро выпив чаю, уходил из дому. Вначале я не интересовался, кем он работает. Только позже, когда подрос, стал замечать, как он всем был нужен. Люди ждали его прихода. Если Нурли поработает у кого-то день, то дом, который от ветхости, казалось, вот-вот рухнет и придавит домочадцев, становился новехоньким, словно бы только что отстроенным. Покосившиеся окна выравнивались и веселели, двери закрывались плотнее,

переставали жалобно скрипеть, и печь в доме топилась исправно. Я слышал, как люди хвалили Нурли, говорили, что у него золотые руки, и мне становилось отрадно, будто сам удостоился похвалы. И я все присматривался потом к его рукам, стремясь заметить на них золото, притрагивался пальцами. И невдомек мне было, почему люди так говорят про нашего Нурли...

Всякий раз я ожидал возвращения Нурли с работы. Обычно он приходил, когда становилось совсем темно. Как мельник, был припорошен с головы до ног белесой известковой пылью. Мама грела для него воду. Нурли раздевался и, отойдя подальше от дверей, отряхивал одежду. На этом месте, по-моему, земля была белее, чем в остальной части нашего двора. Умывшись, Нурли садился за дастархан, чтобы попить чаю. Тогда я выбирался из постели и, протирая глаза, усаживался с ним рядом. Когда Нурли бывал очень усталым, — наверно, ты этого не знаешь, мой старший брат, — он становился еще ласковее, разговаривал и все время улыбался. Я только сейчас осознаю, что он это делал ради мамы, чтобы она не убивалась, видя его усталость от тяжелой работы и недосыпания. Он знал, что надо работать изо всех сил — иначе матери не вырастить нас с тобой. Как бы ему ни хотелось растянуться сейчас же на мягкой постели и закрыть слипающиеся глаза, он вначале обязательно расспрашивал у меня, какие я сегодня получил отметки в школе. Просил показать тетрадки и дневник. Иногда похваливал, иногда журил.

А ты, мой старший брат Аннам, был совсем не таким. Если его сравнить с рекой, ты был камнем на его пути. Если он гора, ты низина. Если он орел, ты ящерица. Хотя ты уже много знал, читал книги — ты ведь уже тогда учился в институте. Когда Нурли или мама делали тебе замечание, ты небрежно отмахивался: «А, вы ничего не понимаете!..» Ну, еще бы, ты себя считал горожанином. А нам всем казалось тогда, что в городе живут одни умные. Во всяком слу-

чае, в институты же мешком прибитых не принимают. Поэтому, когда ты говорил так, тебе не возражали. А перед людьми тобой гордились и мама, и Нурли: ты был первым из всего нашего рода, кто поступил в институт.

Собираясь вечерами в клуб, ты надраивал до блеска туфли, чистил пиджак, утюжил рубашку и, одевшись, подолгу простаивал у зеркала. Мне всегда казалось, что сегодня ты идешь на какое-то большое празднество: наверно, кто-то из твоих друзей женится и пригласил тебя на той. О, как мне хотелось, если б ты знал, пойти с тобой! Но я не смел просить, заранее зная, что не возьмешь. А потом, уже привыкнув к одному и тому же, я перестал придавать значение твоим томительным сборам в клуб, где иногда перед началом кино устраивались танцы. Мне куда интереснее было смотреть, как ты в свободное время чистишь и смазываешь велосипед.

Если ты задерживался, мама и Нурли беспокоились. Я не помню, чтобы они когда-нибудь легли спать, не дождавшись тебя. Нурли спрашивал то и дело: «Где же он мог задержаться?» — и, выйдя за калитку, прислушивался, не перестала ли играть в клубе музыка. Утром ему обычно надо было рано вставать. Но, как мама его ни уговаривала, он не ложился. Потому что все равно не уснул бы...

РАЗДУМЬЯ ТРЕТЬЕЙ НОЧИ

Кажется, это был урок физики. Давным-давно прозвенел звонок, а учителя все не было. Знаешь сам, что за народ мальчишки. Порой они бывают даже рады, если нет учителя. Мы все заорали: «Ур-ра! Айда по домам!» — и ринулись было к дверям. Но в класс в это время вошел ты и попросил всех сесть по своим местам. Может, мои одноклассники и не придали этому значения, — мало ли кто может войти в класс. И потом, вообще, у нас всегда заменяли один предмет дру-

гим, если не приходил учитель. Но я, поверь, очень удивился, увидев тебя. Я даже целую минуту не мог с места стронуться — вот как я удивился. Я, правда, знал, что ты учишься на учителя и у тебя сейчас, кажется, практика в нашей школе. Помню, мама благодарила тебя, что ты выбрал для практики нашу школу и поживешь немножко дома. Но я не мог предположить, что ты зайдешь к нам вместо нашего учителя.

Все расселись по местам, и в классе стало тихо. Мне казалось, что взгляды всех моих товарищей устремлены на меня, что они мне здорово сейчас завидуют. Еще бы! Мой брат — учитель! Ведь не у каждого есть такой старший брат. Я даже не могу передать, как гордился тобой в ту минуту. Я старался не пропустить мимо ушей ни одного твоего слова. Ни одно твое движение не оставалось мной не замеченным. Хотя ты и обидел меня не так уж давно, я сейчас готов был позабыть про все. Мало того, мог даже попросить у тебя прощения.

До звонка оставалось совсем немного времени. Но ты, не суетясь, со знанием дела раскрыл классный журнал и проверил по списку, все ли присутствуют. Когда черед дошел до меня, ты не назвал моей фамилии, а только поднял голову и, едва приметно улыбнувшись, устремил на меня взгляд. Ты даже улыбнулся, подумать только! Попытайся представить себе, как любил я тебя в ту минуту.

Напоследок ты еще и поговорил с учениками. Расспросил об их увлечениях, чем они занимаются на досуге.

Заверещал звонок. Ты сказал: «До свидания, дети», — и ушел. Сию же минуту между моими одноклассниками начался спор. Каждый высказывал свое предположение. «Он будет преподавать физику, раз на урок физики зашел!» — утверждали одни. Другие возражали им и старались убедить остальных, что ты будешь вести у нас историю. А один мальчишка, которого мы прозвали Птичья голова, вскочил на парту и заорал на весь класс, заглушая остальных: «Эй вы,

умники! Фи-и-изика!.. Исто-о-ория!.. Никто ничего не знает! Он у нас будет классным руководителем, вот! На какой предмет захочет, на тот и будет заходить! А когда закончит учебу, снова в нашу школу приедет работать. Если не верите, вон у Дадели спросите...»

Я не знал, что ответить. Ты никогда ничем со мной не делился. Мне только осталось кивком подтвердить слова Птичьей головы. На этом закончились споры. Когда мы толпой повалили на улицу, я услышал, как кто-то сказал: «Прошел бы скорее год, чтобы к нам пришел этот учитель».

Во дворе школы дети играли в «Третий — лишний». Я остановился, стал смотреть на них. Но не столько следил за их игрой, как искал глазами тебя, мой брат. Надеялся, что сейчас ты выйдешь из школы и мы вместе отправимся домой.

Целый час я околачивался во дворе школы. Уже вторая смена пошла на уроки, я на площадке остался один. Но все равно мое настроение ни чуточки не испортилось.

Придя домой, я поделился радостью с мамой. Мама с улыбкой посмотрела на меня и сказала:

— Я тоже очень рада, что ученики сразу же полюбили твоего брата. Бери с Аннама пример, сынок. И постарайся тоже стать человеком.

— Хорошо, мама, постараюсь, — пообещал я.

Я в тот вечер даже не пошел на улицу играть с друзьями. Они раз пять приходили и звали меня. А я ждал тебя. Хотел раньше других узнать, какой все-таки предмет ты намерен у нас вести, чтоб не хлопать глазами, когда об этом у меня будут спрашивать мальчишки. Еще хотел попросить тебя порешать со мной задачи.

Но ты не пришел. И твоего велосипеда не было на месте. И пиджак твой тоже не висел на спинке стула, и сверкающие штиблеты не стояли в прихожей на маленьком коврике.

— Наверно, опять укатил в город, — вздохнув, сказала мама. Она всегда очень волновалась из-за того, что не знает в лицо ни одного из твоих товарищей, с которыми ты проводишь время в городе.

Видать, ты сегодня тоже не вернешься или вернешься очень поздно. Меня лишь утешало то обстоятельство, что завтра у нас будут уроки, на которые ты, по нашему предположению, должен зайти.

Так и случилось. Ты пришел на урок физики. Правда, у тебя в руках не было, как это водится у учителей, ни книги, ни тетрадей. Ты положил классный журнал на край стола и даже его не раскрыл, как это сделал вчера. И вообще ты казался каким-то странным. Твои движения стали резкими, нервными. В глазах затаилась злость. Ты провел по лицу ладонью, словно бы сгоняя усталость. И, вызвав одного из учеников, спросил, какую тему мы прошли последней и что он знает по ней. Мальчик стоял и растерянно озираясь, ожидая подсказки...

У нас уже два месяца не было учителя физики. Поэтому никто из нас не помнил, когда был последний урок по этому предмету и что мы на нем проходили. Ты поднял второго ученика. Третьего... Стал их ругать, обзывать тупицами и неучами, будто хотел сорвать на них зло, которое накопило в тебе. Сегодня ты был не тот мой старший брат, который к нам заходил вчера. Сегодня я не мог тобой гордиться. Вид у тебя был усталый. Ты украдкой зевал, стараясь незаметно прикрыть рот ладонью. По твоему бесстрастному лицу нетрудно было понять, что тебя ни капельки не интересует ни урок, ни ответы учащихся. Пытаясь скрыть от нас дурное настроение, ты говорил, как вредит всему человечеству лень, что с ранних лет надо приучать себя к труду, что надо совершенствоваться не только физически, но и духовно. А сам все вышагивал и вышагивал от окна к двери, от двери к окну, не останавливаясь. Если бы шел столько времени по прямой, наверно, уже дошагал бы до города.

Одежда твоя, надо сказать, тоже соответствовала твоему настроению. Вчера ты был одет с иголочки, каким я привык тебя видеть всегда. А сегодня пиджак твой не то пыльный, не то в пуху. Воротник на рубашке помят и грязный. И недостает верхней пуговицы, — если б не галстук, ворот распахнулся бы...

Ты говорил и без конца сбивался, теряя мысль, то и дело поглядывая на часы, делая вид, что всего-навсего поправляешь манжету. Но от внимания учеников ничто не могло ускользнуть. Уверяю тебя, ученики — самая наблюдательная часть человечества. Мы сразу поняли, что сегодня ты ждешь, чтобы побыстрее промчалось время. А оно, как назло, застыло, не торопилось. И ты нервничал из-за этого. Я до сих пор не знаю, куда ты так спешил тогда. Может, договорился с кем-то о свидании? Или просто стыдился своего неопрятного вида и хотел поскорее уйти, пока тебя не увидели коллеги?

Однако часы есть часы. Торопись не торопись, они идут как обычно. Они неподвластны тебе. А остающееся время надо чем-то заполнить: не сидеть же на уроке молча. Понимая это, ты подошел к доске и аккуратно вывел на ней мелом: «Паровой двигатель». Мои одноклассники склонились над своими тетрадками, помалкивая. А меня будто кто за язык дернул: не зная, как к тебе обратиться — «учитель» или же назвать просто по имени, — я сам не понимаю, как выпалил:

— Это мы давным-давно прошли, ага!

Остальные ученики зашумели и подтвердили справедливость моих слов. Тебя это, кажется, сконфузило. Ты покраснел, и только тогда я понял, какую допустил оплошность. Ты одним махом стер с доски написанное. Извлек из кармана какую-то бумажку и заглянул в нее. «В шпаргалку смотри», — сказал кто-то за моей спиной и хихикнул. Но в твоей шпаргалке, видать, кроме «Парового двигателя», ничего не было. И тогда, выйдя из себя, ты направился ко мне и со

словами: «Разве кто тебя об этом спрашивал?!» — залепил мне пощечину. У меня аж хрястнуло в затылке и голова за-началась, словно шея моя была сделана из пружины.

Когда я вспоминаю эту затрещину, у меня даже сейчас начинает гореть щека.

РАЗДУМЬЯ ЧЕТВЕРТОЙ НОЧИ

...Нет, ты не подумай, что я тогда на тебя обиделся. Хотя мне лучше б провалиться сквозь землю от стыда перед товарищами. Чтобы не видеть их насмешливых взглядов и не слышать издевок, я целую неделю не ходил в школу. Маме говорил, что иду учиться, а сам потихоньку сворачивал в сад и там с мальчишками, которые учатся в другую смену, играл в орехи или в перышки. Я и тебя избегал несколько дней: совестно было перед тобой, что я, как болтливая девчонка, не смог удержать свой язык за зубами. И во всем, конечно, винил себя. Маме и Нурли я старался не показывать, что несчастен, все свободное время проводил на улице или за книгами, делая вид, что мне страшно некогда. И близко не подходил к твоему велосипеду, если даже он целый день стоял свободным во дворе возле окна. Никто, однако, не заметил перемены в наших отношениях, чему я был рад: не то бы посыпались вопросы, и пришлось бы признаться, что получил от тебя оплеуху на уроке. Даже мама, наша внимательная мама, не углядела невидимой стены, возникшей между мной и тобой.

Только после того дня, если я не ошибаюсь, у тебя тоже были неприятности в школе. Во всяком случае, ты перестал появляться на уроках, хотя формально считалось, что ты проходишь практику. Я, поверь, искренне жалел, что ты не бываешь в нашем классе. И готов был с мальчишками драться, когда они говорили, что лучше, если у нас не будет преподавать такой учитель.

Ни мама, ни Нурли не догадывались об истинной причине того, почему у тебя раньше срока закончилась практика. А я им ничего не говорил. Ты собирался снова отбыть в далекий город, который я в своем воображении застраивал красивыми дворцами, институтами и непременно клубами, выглядевшими, конечно, куда лучше, чем клуб в нашем поселке. Тебе оставалось еще два года учебы. Вся наша семья была занята тем, чтобы проводить тебя. Мама каждый день, не отходя от раскаленного тандыра, пекла сдобные лепешки. А Нурли, получив зарплату, купил тебе зимнее белье и ботинки с мехом. Остальные деньги вручил маме.

— Отдашь Аннаму на расходы, — сказал он.

А что я мог сделать для тебя, мой брат? Лишь сказать на прощанье добрые слова: «Счастливого пути тебе. Возвращайся домой, когда закончишь учебу», — и вытереть слезы рукавом рубашки. Еще я, кажется, тебе сказал, что буду смотреть на дорогу, по которой ты уедешь, дожидаясь твоего возвращения. Просил тебя почаще писать письма. Мне очень хотелось напоследок сделать для тебя что-нибудь хорошее, но пока я ни на что такое не был способен.

Хотя нет, если припомнить, я, оказывается, тоже мог для тебя сделать кое-что приятное.

Мне, младшему брату, неловко напоминать тебе об этом, но, как говорится, к слову пришлось. Всего за день до твоего отъезда, когда я проходил по улице, меня, приотворив калитку, зазвала к себе во двор Айджемал. Она меня встретила ласковыми словами, назвала братиком, суетилась, не зная, где меня усадить. Поставила передо мной огромное блюдо с виноградом, персиками и просит, чтобы я попробовал фруктов из их сада, будто для того и пригласила. А сама взволнована чем-то. «С чего бы это?» — думаю, а сам запихиваю в рот виноград, хрумкаю вовсю, аж сок брызжет. На лице Айджемал растерянность. Прежде я никогда не замечал, чтобы взрослые девушки терялись в моем присутствии. От былой веселости хохотуньи Айджемал и следа не осталось. Среди

своих подружек она могла говорить без умолку, и такие смешные вещи, что и сама покатывалась со смеху, и девчонкам челюсти сводило. А тут, вижу, собирается сказать мне что-то, да не знает, с чего начать. Едва заведет разговор, тут же задумается, покусывает губы. Потом махнет этак рукой, скажет: «Ай, я просто так!.. С чего это я, глупая?..» — и начинает болтать о каком-нибудь пустяке. Но за этим я своим детским чутьем усматривал что-то другое. Предполагал, что она собирается сказать мне нечто важное и сокровенное. И думал: что же это могло бы быть? Она, видать, поняла, что я все равно догадываюсь немножко, и решилась, наконец, говорить открыто, следуя поговорке «Взобравшись на верблюда, меж горбов не прячься».

— Я слышала, что Аннам уезжает на учебу? — спросила она.

Я кивнул и опустил глаза. Так мы просидели до конца разговора, не глядя друг на друга.

— Никак не могу увидеть его... Ай, впрочем, это и не обязательно. Просто мы с ним учились в одном классе. Одноклассники мы, понимаешь?.. А тебя я люблю больше, чем его. Ведь ты мой братишка, правда? И Аннаму братишка... Передай, если сможешь, ему этот сверточек. Можешь ничего не объяснять, он сам поймет. Если он завтра уезжает... если уезжает... не буду мешать ему в суматохе сборов...

Будь у Айджемал просьба потруднее, и то бы я все для нее сделал. Если хочешь знать, я и раньше всегда восхищался ею и хотел, чтобы все другие девчонки, мои ровесницы, походили на нее — нашу соседку Айджемал. Наверно, другие мальчишки тоже так же думали, потому что каждый из них всегда с готовностью выполнял любое ее поручение: сбегать кого-то позвать, или принести дынь и арбузов с бахчи, или вечером, по просьбе Айджемал, встретить их корову из стада и подогнать к калитке, — для мальчишек все это было сущим пустяком и даже, я бы сказал, приносило отраду их сердцу.

Ты сам, конечно, не заметил, как посветлело твое лицо, когда я тихонько положил тебе в руки тот сверток. Ты захлопнул крышку чемодана и, напустив на себя строгость, сказал:

— Не мешай мне сейчас! Иди лучше покатайся на велосипеде.

Нужна ли мне была другая награда! Я опрометью выскочил из комнаты. Я понял, что сделался добрым вестником для тебя, и от этого чувствовал себя на седьмом небе. Но ты тут же окликнул меня и вернул назад. Взгляд твой подобрел и стал мягче. В этот момент ты сделал то, чего никогда до этого не делал: вынул из нагрудного кармана и протянул мне красную десятку. Разве мне нужна была эта десятка? Нет, конечно. Но раз дарил ее ты, я не посмел отказаться. Ты, улыбнувшись, похлопал меня по щеке и пообещал:

— Если мне понадобятся интересные книги, буду присылать тебе. Это хорошо, что ты любишь читать. Только про уроки не забывай. И слушайся мать.

Я кивнул и заторопился во двор.

Ты уезжал на учебу в далекий город не один. Успокаивало нашу маму то, что с тобой ехали из нашего селения Сахетли и Арслан. Она знала, что в городе односельчане делают словно родные.

— Там смотрите друг за другом, помогайте во всем, будьте друг другу подпоркой, — наставляли отъезжающих старшие.

Маму удручало только одно — Сахетли и Арслан скоро уже вернутся, закончив институт, а тебе, ее сыну, останется еще целый год учиться. Ты утешил ее, сказав, что всего один год — не так-то много, что в общежитии вы живете хорошо и там у вас много друзей.

Около полуторки, на которой вы должны были ехать,

стояло много провожающих. Я до сих пор помню, как волновалась мама, когда ты взобрался в кузов и Нурли передал тебе твой чемодан. Они вдвоем советовали тебе беречь себя, не жалеть денег на питание, теплее одеваться. А я стоял в сторонке и очень хотел, чтобы ты посмотрел на меня. Я бы незаметно указал тебе взглядом на калитку, возле которой стояла, стесняясь подойти поближе, Айджемал и не отрывала от тебя глаз. В тот момент, мой старший брат, мне казалось, ты должен услышать, как бьется ее сердце. Признаюсь, меня досада брала, что ты не обернулся на ее немой зов, не посмотрел в сторону калитки, за которой она жила.

Очень скоро после твоего отъезда мы все слышали сердце Айджемал. Что касается меня, то я давно его слышал. А вот для мамы и Нурли это было открытием. Правда, они не сразу догадались, почему Айджемал почти через день стала навещать нас. То зайдет, бывало, справиться о здоровье нашей матери, то спросит у меня: «Как учишься, Даделихан?» — и поможет решить задачку, зная, что я в математике хромаю. А иногда просто, заглянув в дверь, сообщала: «В магазин привезли красивую ткань на платье. Вы не купили? Все расхватывают!» — и тотчас убегала. Приходила за ситом, за ступкой, за подстилкой под муку, а я хорошо знал, что все это у них есть у самих.

Она приходила к тебе, мой брат. Вернее, хотела ненароком узнать, нет ли вестей от тебя. Но писем все не было, мы и сами о тебе ничего не знали. Поэтому, как нарочно, при ней у нас никогда не возникало разговора о тебе. Она уходила всякий раз опечаленной. У меня щемило сердце, когда видел, что она закручинилась. Я с готовностью исполнил бы любое ее поручение — даже скажи она мне, чтобы я спрыгнул с крыши или с дерева, я спрыгнул бы, лишь бы на ее похудевшем и бледном лице вновь заиграла улыбка и засветились бы глаза, точно ночные звездочки. Но обрадовать ее могла только весточка от тебя.

Мама и Нурли догадались, в чем дело, но не заводили

с ее родителями разговора о тебе, не посоветовавшись вначале с тобой. В ту пору у них, по правде говоря, и без того забот хватало.

РАЗДУМЬЯ ПЯТОЙ НОЧИ

...Наконец-то мы получили от тебя письмо. Я был в школе, когда почтальон принес его и, поздравив маму с радостной вестью, попросил суюнчи. Получив в подарок вышитый носовой платок, ушел, желая нашему дому изобилия и всяческих благ. А мама сидела, не распечатывая конверта, и ждала меня. Едва я перешагнул порог, она радостно воскликнула:

— От Аннама пришло письмо, сынок!

Я бросил портфель на ковер и торопливо надорвал конверт. Думал, ты расписался на множество страниц. Казалось, сейчас получу целую гору удовольствия, узнав подробности о твоих успехах, о том, как ты живешь. Ведь прошло столько времени — у тебя, наверно, немало впечатлений, о которых ты хотел бы поведать нам. Однако, едва я распечатал конверт, радость мою как рукой сняло. На маленьком листке бумаги ты написал карандашом всего несколько слов: «Обо мне не беспокойтесь. С учебой справляюсь. Посылаю фотографию. Кто сидит рядом со мной, узнаете позже... Мама! У меня кончились деньги. В чужом городе, знаете сами, занять не у кого. Скажи Нурли, что я должен иметь хотя бы еще одну пару белья на смену. Привет всем. Аннам». И все.

Я взглянул на маму, стараясь угадать по ее лицу, как приняла она твои слова. Она сидела на ковре против меня и недоуменно смотрела на фотографию, видимо выпавшую из конверта, когда я разворачивал письмо. Я подошел и тоже стал рассматривать снимок. Да, девушка, которая сидит рядом с тобой, не похожа на здешних. Такая бы не стояла

застенчиво в сторонке, если бы парень, запавший в ее сердце, уезжал куда-нибудь. Неужели городские девчата все такие? Эта, сразу видать, стреляная птица. Иначе не стала бы так жеманно улыбаться, беззастенчиво обхватив тебя за шею и положив голову на твое плечо. Взгляд — расплывчатый, в глазах словно туман. И в твои глаза будто накапали масла. Нетрудно заметить, что вы навеселе. Твоя девушка забыла застегнуть пуговицы на блузке, и видны всякие кружева. И что же это она, сегодня не причесывалась, что ли?.. Скорее всего ты не сказал ей, что собираешься послать эту фотографию домой. Возможно, ты ей и не говорил вовсе, что тут у тебя есть мать и Нурли, которым не все равно, как ты живешь там. Они проводят без сна целые ночи, думая о тебе и беспокоясь... Кроме того, здесь тебя ждет не дождется Айджемал! А о себе я и не говорю...

Мама осторожно положила фотографию на ковер, словно она была из хрусталя и могла разбиться, и, ничегошеньки не сказав, вышла во двор. Пошла растапливать очаг в летней кухне, чтобы приготовить ужин. А может, чтобы наедине предаться своим горестным думам. А я остался сидеть, будто прилип к этому месту, и уже в который раз вчитывался в твое письмо. Знаешь ли, во мне оно еще тогда возбудило подозрение. Я почти был готов поклясться, что все у тебя не так, как ты пишешь в своем письме. Может, ты не сдал экзамены и тебя сняли со стипендии? Но пишешь, что с учебой справляешься. Может, болен и лежишь в больнице? Но эта фотография... Что же случилось с тобой, мой брат? Я слышал, такие короткие письма люди пишут, когда на сердце чересчур много накоплено всего, что хочется излить своим близким, или же, наоборот, когда совсем нечего сказать. А мы с тобой не виделись так долго, неужели ты не нашел, что написать нам?

Увлеченный письмом, я не заметил, как в комнату вошла Айджемал. Она тихонечко села рядом со мной и подобрала фотографию. И тут же выронила, словно обожгла руку. Лицо

ее помертвело. Заметив, что я смотрю на нее, она улыбнулась, часто моргая, как-то по-детски и растерянно. Потом легонько поднялась и вышла бесшумно, как и вошла. И я подумал: может, она и не приходила вовсе, может, это ветерок прошелестел по комнате...

Я сердцем чувствовал, что у тебя не все благополучно. Если бы ты находился рядом со мной, брат Аннам, я бы начал успокаивать тебя. А сейчас я должен был успокоить себя. «Не все же время идти по жизни, как по асфальту, — размышлял я. — Случается пройти и по раскаленному песку, и по размытой дороге, увязая в грязи... Если наш Аннам провалился на экзамене и не получает стипендии, то мама и Нурли ему помогут. А в следующую сессию он наверстает... В нашем селении есть парни, которые по несколько раз сдавали вступительные экзамены в различные институты, а так и не смогли поступить. И все равно не теряют надежды. Они рассуждают так — не повезло в этом году, в следующем улыбнется счастье... А фотография... Ну, мало ли... Может, я ошибаюсь, и все совсем не так, как я подумал...»

Мы решили не показывать фотографию Нурли. Из-за этого пришлось упрятать и письмо. Он и без того был недоволен тобой. А с чего быть тобой довольным, сам подумай.

Но мы с мамой решили скрыть от него письмо не только поэтому. Была и другая причина. Мы все верили, что ты совсем уже скоро получишь диплом и вернешься работать. У нас ведь неплохая школа, а учителя по физике до сих пор нет. Вот Нурли и подумывал о невесте для тебя из наших. Я не раз слышал, как он говорил маме: «Если Аннам успешно закончит институт, надо его женить. Слава аллаху, мы в состоянии это сделать. Я собрал денег для твоей...» Так можно ли было ему показывать эту фотографию, посуди сам. Разве он не обиделся бы на тебя? Вы бы наверняка поссорились. И тем самым дали бы повод злым языкам судачить, снова склоняя эти слова — «родные» и «неродные».

Весть о том, что у тебя не осталось денег, конечно же,

очень беспокоила маму. Однако Нурли вот уже вторую неделю работал в дальней бригаде и домой приходил за все это время один только раз. Вечером мама попросила меня взять из сарая велосипед и съездить к нему. Ты, мой старший брат, заставил и маму и меня впервые в жизни солгать Нурли. Мама велела сказать ему, что заехали днем, дескать, на часок ребята, которые учатся вместе с Аннамом, и он просил передать привет родным, сказать, что жив-здоров. Да только, мол, они от себя прибавили, что Аннам поиздержался и с трудом сводит концы с концами.

Я отправился в путь, пообещав маме выполнить все как велено, недаром говорят, что сердце матери принадлежит детям больше, чем ей самой.

Я помню старую легенду. Однажды некая красавица поставила перед влюбленным в нее джигитом условие: «Стану твоей, если докажешь свою любовь». — «Как мне доказать?» — спросил юноша, объятый страстью. «Принеси мне сердце своей матери!» — сказала красавица. Легко ли решиться на такое? Долго ходил джигит, терзаемый сомнениями, вокруг дома своей родительницы, да так и вернулся ни с чем к красавице. Та прогнала его. Тогда юноша отправился в степь и, настигнув серну, поразил ее кинжалом. И принес исходящее паром сердце жестокой красавице. Однако она поняла обман и снова отвергла его любовь. Она требовала сердце матери. И тогда обезумевший джигит решился. Извлек из груди своей матери сердце. Окрыленный надеждой пустился в обратный путь. Он так спешил, что не видел дороги под ногами. Споткнувшись, упал и выронил сердце. И в этот момент сердце матери спросило у него: «Не ушибся ли ты, мой ягненочек?»

Скажу откровенно, Нурли на чем свет стоит ругал тебя, братец мой, твою чрезмерную скромность. Оттого, видать, и не пишешь ты — не хочешь расстраивать близких. И, незлобиво ворча, вынул деньги и отдал мне, велел передать матери.

РАЗДУМЬЯ ШЕСТОЙ НОЧИ

...Огромная машина, не то автомобиль, не то комбайн, разя светом фар, как двумя мечами, катит прямо на меня. Едва успеваю отпрянуть в сторону. И вдруг в кабине вижу тебя, брат Аннам. Машу руками, кричу, чтобы ты остановил свое железное чудовище. Но куда там — ты не слышишь. Тебе не до меня. Я замечаю твоих спутников. Некоторые из них еще похожи на людей. А у других туловища вроде бы человечьи, а головы бульдожьи. Бррр!.. Машина умчалась. Снова тишина кругом. Ни души. Ни птиц, ни зверей. Но нет... Вон она, летит ко мне птица. Могучий орел летит. Плавное опускается на землю и садится около меня. Покорно опускает голову, давая понять, что готов мне услужить. Я сажусь между огромных мягких крыл, и мы взмываем в небо... И вдруг царь птиц говорит человеческим голосом: «Послушай, что я скажу тебе, сын человека! Ты долго искал своего брата. Переплыл реки, пересек пустыни, избил в кровь ноги. Я давно слежу за тобой с высоты, осматривая свои владения. А рад ли ты теперь, увидев брата?.. Знаю, не рад. Он промчался мимо, не взглянув на тебя. И ты готов призывать на его голову громы небесные. Не спешишь ли ты, дружок, с выводами, подумай. Ведь он не волен распоряжаться собой. Его увезли...» — «Куда увезли?» — силюсь я перекричать ветер. «Сейчас увидишь». Орел рассек грудью облако с сухим шорохом, будто полотно разорвал. И мы очутились над городом, похожим на большой белый дворец. «Здесь, вдалеке от людей, в спрятанном от их глаз городе, есть все — музыка и женщины, плов и шашлык, а в арыках вместо воды течет вино...» — «Вот бы здесь пожить!» — восторгаюсь я. Орел сразу же помрачнел: «А, ты тоже хочешь туда? Я же, глупец, тебя принял за праведника. Тогда прыгай, если жаждешь попасть туда!» — «Что ты, ведь я разобьюсь!» — «Отсюда ты попадешь в этот город или придешь, ступая по земле, — тебя ожидает одна участь!» С эти-

ми словами орел резко опрокинулся — я проваливаюсь в бездну: «А-а-а-а...»

Проснулся весь в поту. Как я обрадовался, что это был всего-навсего сон.

РАЗДУМЬЯ СЕДЬМОЙ НОЧИ

Весь день я думал про давешний сон. Никогда не верил в сны и не буду верить в них. Но вчерашний в меня вселил тревогу. Что бы все это значило?..

РАЗДУМЬЯ ВОСЬМОЙ НОЧИ

Мы вместе с мамой отнесли деньги на почту. Еще я опустил в ящик письмо, написанное мной под диктовку мамы. Ну, конечно, кое-что и от себя добавил. Слово в слово помню, что там писал:

«Дорогой Аннам! Привет тебе от твоего младшего братишки Дадели, от Нурли, от мамы и от всех твоих односельчан. Мы, слава богу, все живы, здоровы, чего желаем и тебе, о чем мама молит день и ночь всевышнего.

Аннам-ага, мы получили от тебя письмо, которое доставило нам неописуемую радость. Ты просил денег. Высылаем их тебе. Надо будет, пришлем еще. Так Нурли сказал. Он велел тебе передать, что если будет у Нурли здоровье, то будут и деньги. Еще он просил тебя хорошо учиться, а когда выпадет свободный час, писать нам письма. Об этом умоляет тебя мама.

Теперь немножко о себе. Собираюсь перейти в вечернюю школу. А днем буду работать. Так мне посоветовал вчера Нурли. Нам вдвоем будет легче помогать тебе. Нурли сказал: «Пусть хоть один из нашей семьи поскорее выйдет в люди.

Ему совсем немножко осталось. Поможем дотянуть до конца, малыш. А потом твоя очередь — ты поедешь учиться. А мы с Аннамом вдвоем будем помогать тебе, братец Дадели. Ведь мы братья. Кто нас еще поддержит, если мы не сами друг друга...»

Наш старший брат, думается, прав. Я послушался его. Сейчас как раз в нашем селении заложили фундамент под новый клуб. Хотят достроить к годовщине Октября. Но не хватает строителей. Наверно, здесь и начнется мой трудовой стаж.

Аннам-ага, уезжая, ты обещал мне присылать книги. Однако я до сих пор ни одной не получил. Может, в последнее время не печатают интересных книг? Или те, что ты послал, просто не дошли до нас? Все в нашем селении жалуются на почтальона. Говорят, прикладывается к рюмке, а потом теряет письма. Я слышал, его скоро заменят. Если пошлешь книги, они теперь не будут теряться.

Недавно Айджемал дала почитать книгу. «На реке» называется. Ее автор — наш известный писатель. В ней очень интересно описаны события, которые происходили на берегу Амударьи. Один бедняк, по имени Розы, рассказывает о бедах, которые ему пришлось пережить. Я даже не мог поверить, что так тяжело жилось людям прежде. Прочитал эту книгу маме. Она говорит, все так и было. Говорит, что все слово в слово в ней верно написано. А я думал, писатели все — выдумщики. Мама беспокоится: «Река Аму широкая и глубокая. Аннам любит купаться, как бы он не утонул». Я рассмеялся только. Ведь ты очень хорошо плаваешь. Кроме того, я уверен, у тебя столько работы, что тебе не до загораний на пляжах Аму.

Напиши, по сколько часов вы занимаетесь в день. У нас, наверно, по вечерам будет всего четыре урока. Кто у вас преподает? Одни знаменитости, должно быть...

Мы все с нетерпением ждем твоего письма.

Мы.

Я еще никогда не видел Нурли таким, как в тот день. Лицо осунулось, будто он перенес тяжелую болезнь. Уголки рта скорбно опустились. А глаза выражали столько горя, что я испугался, все ли благополучно у нас в семье... Но дознаваться ничего не стал. Сочтут нужным, сами скажут. Ведь проявлять излишнее любопытство у туркмен считается неприличным.

Не было еще и четырех часов, а Нурли уже дома. Прежде он никогда не приходил до темноты.

Нурли то усаживался на ковер, то вставал и ходил по комнате, погруженный в какие-то думы, будто заботы всего мира свалились на его плечи.

Пришла мама. С узелочком яиц, одолженных у соседки. Я подумал: «Зачем нам столько яиц?» Но из разговора через минуту понял, что мама собирается сварить их Нурли на дорогу. Нурли уезжает?.. Так неожиданно! Куда?.. Мама суетливо собирала вещи и складывала в чемодан. Без конца повторяла: «Смотри, не забудь взять с собой это. Не оставь другое». Как будто не сама она собирает сына в дорогу, не ее руки укладывают в чемодан самое нужное.

Я сидел в стороне, пригорюнившись, обняв руками колени. Мне обидно было, что мама и Нурли, занятые друг другом, позабыли обо мне, словно меня нет дома. Более того, скрывают от меня какую-то тайну. Да, недаром придумывали когда-то туркмены поговорку: «Чем быть младшим, лучше быть детенышем собаки». Мне казалось, они оба считали: «Подумаешь, что из себя представляет этот мальчишка Дадели, чтобы еще с ним советоваться, вводить в семейные дела!..» А может, они просто не хотели волновать меня — ведь я сегодня вернулся с работы пораньше, чтобы успеть сделать уроки к вечерней школе. Словом, забот хватало. Но я все равно чуть не плакал от обиды: еще ни разу не бывало, чтобы в семье так пренебрегали мной.

Я, конечно, мог вмешаться в разговор и спросить: «Что все это значит? Я еще никогда не видел, чтобы Нурли собирался в долгий путь. Что позвало его в дорогу?» Но я помалкивал. Надеялся, что в конце концов обо мне все-таки вспомнят и скажут, что к чему.

Однако поговорка наших предков про младшего оказалась верной. Никто про меня не вспомнил, будто бы меня вовсе не было на свете. Только, уже стоя на пороге с чемоданом в руке. Нурли обернулся и сказал, обращаясь ко мне:

— Ну, братишка, ты в доме остаешься за мужчину. Заботься о маме. И присмотри тут без меня за скотиной. До свидания. Будьте здоровы.

И ушел.

Вскоре я тоже ушел. В вечернюю школу. Только какая учеба полезет в голову, если она забита невесть чем. Я сидел за партой, думал о тебе, мой брат Аннам. Да, представь себе. Голову сверлило неотступно: «Не случилось ли чего с Аннамом? Иначе куда бы Нурли так торопиться?» Я отгонял от себя эту мысль. А она все кружилась и кружилась надо мной, как назойливая муха. Я делал вид, будто записываю в тетрадь, что говорит учитель, а рука выводила: «Анна... Мой старший брат...»

Парни на переменах выходили из класса. Собирались в коридоре, открыв форточку, курили, о чем-то разговаривали, смеялись. А я просидел все четыре часа на месте, рисовал чертиков.

Поверь, мне стоило огромного труда дождаться конца уроков и не сбежать.

В комнате тускло светила привернутая керосиновая лампа. Мама уже легла. Привыкший к тому, что мама всегда ложилась позже нас всех, — когда мы засыпали, она поправляла подушки у нас под головами, подтыкала одеяла, чтобы не дуло, потом мыла посуду, колола ножом щепки на утро для растопки, — я удивился, не встретив ее на пороге. Но мама не спала. Она приподняла голову с подушки и сказала:

— Пришел, сынок?

Откинув одеяло, вывернула фитиль лампы, ярко осветив комнату, и придвинула ко мне стоявший у изголовья чайник, накрытый стеганым чехлом. Я развернул дастархан. Но разве мог я проглотить хоть кусочек хлеба?

— Мама, что все-таки произошло? — спросил я и отодвинул пиалу с чаем.

А она, видимо желая отсрочить неприятный разговор, сказала, спохватившись:

— Ой, сыночек, я стала забывчивой! В казане есть шурпа, еще горячая. Налей себе сам и поешь. Я себя что-то неважно чувствую сегодня. Все тело ломит.

— Не хочу я ничего есть. Скажи лучше, куда уехал Нурли? Я вам чужой разве, что от меня скрываете?

Она посидела молча, задумавшись. Потом пошарила рукой у себя под подушкой и вместо ответа подала мне какую-то бумажку, сказав:

— Ах, этот Аннам доставляет нам столько хлопот!..

Письмо это оказалось не твоим ответом, брат, которого я ждал от тебя уже много дней. Оно было написано совсем незнакомым почерком. Прочитав до конца, я понял, отчего у Нурли сегодня дрожали руки, а мама слегла в постель.

Писал Сахетли, которого мы вместе с тобой проводили в Ашхабад: «Уважаемый Нурли! Я долго думал, правильно ли поступлю, если напишу вам об этом. Я понимаю, что мое письмо принесет с собой в вашу семью много беспокойства, но боюсь, если вы ничего не будете знать, Аннам пропадет за здорово живешь. А он наш односельчанин и наш товарищ, а вам — родной брат. Поэтому с болью в сердце решил написать вам. Жалею только, что не сделал этого раньше. Думал, после практики, может, он перестанет знаясь со своими друзьями. Поэтому мы с Арсланом ничего не сказали вам, когда были на практике в нашем селении. А сейчас Аннам все начал сызнава. Ничего не сказав, исчезает из общежития, и мы его не видим неделю, а то и две. А ведь беспокоимся —

всякое может случиться. Придя, начинает бахвалиться кутежами, веселыми компаниями, в которых якобы бывает, и попрекает нас, что мы не умеем жить. Мы пытались говорить с ним серьезно, он и слушать не хочет.

Вот уже месяц, как Аннама отчислили из института. Иногда он заходит к нам переночевать. А где живет, не говорит. По-моему, он нигде не работает. А недавно Арслан узнал, что нескольких типов, которых Аннам представил нам как своих друзей, когда они приходили в общежитие, судили. Поэтому мы еще больше встревожились за судьбу вашего брата. Если сможете, приезжайте. Вместе что-нибудь сделаем, чтобы ему помочь.

Передавайте от нашего имени большой привет всем односельчанам.

Уважающий вас С а х е т л и».

Ясно теперь, почему Нурли так спешил. Он представил тебя на краю бездонной пропасти и боялся не успеть протянуть руку. Я был спокоен теперь — Нурли тебя разыщет. Он бы нашел тебя, если бы даже твой город стал стогом сена, а ты бы превратился в иголку. Ведь Нурли был для нас и старшим братом и отцом.

Я вернул письмо маме и уверенно сказал:

— Не волнуйся. Раз Нурли поехал, значит все обойдется благополучно.

РАЗДУМЬЯ ДЕСЯТОЙ НОЧИ

Когда ты следом за Нурли, внесшим чемоданы, вошел в наш дом, я не сразу тебя узнал, мой брат. Разве можно так измениться всего за несколько месяцев? Я прежде никогда тебя не видел небритым, и сейчас мне показалось, что твое лицо выпачкано дегтем. От твоей былой подтянутости и аккуратности, подмечаемых сразу же девчонками нашего селения, и следа не осталось. Ты ссутулился, пиджак свисал с тебя,

как с вешалки, глаза ввалились и напоминали подгнившие вмятины на дыне. Ты обнял мать, потерся подбородком о ее голову, повязанную белым платком, потом взъерошил мои волосы, как-то смущенно при этом улыбаясь. По радостному выражению лица Нурли нетрудно было догадаться, что все обошлось хорошо, как я и предполагал. А одежда — пустяки. По одежде о человеке только дураки судят. В дороге у всех костюмы мнутся. И бороды у всех отрастают. А вот те, у кого совсем не растет борода, считаются даже нехорошими людьми...

Но прошел день. Потом второй. И третий... А ты сидел дома и не показывался на улицу, словно не желал никого видеть. Или думал, что соседи уже знают все про тебя и стыдился их. Это все мои предположения. А ты помалкивал и валялся весь день на ковре прямо в одежде, надвинув на глаза кепку. Курил сигареты, выпуская колечками дым. Лежал, будто тебя ничто не интересовало: ни новости в селении, ни моя работа и учеба, ни мамино здоровье. Видя твое состояние, я даже не делал попыток заговорить с тобой, понимая, что шикнешь на меня, как на кошку, и спешил уйти гулять на улицу.

К тебе иногда заходили парни. Твои бывшие друзья. С ними тоже ты был холоден и неразговорчив. Больше всего, я заметил, ты ненавидел вопросы. Отвечал на них односложно, начиная постепенно раздражаться. И ребята стали проходить мимо нашей калитки, не сворачивая к нам.

Мне очень хотелось узнать, что ты таишь у себя на душе, какие мысли переполняют твою голову. Но не осмеливался просить об откровенности. Ты всегда становился резок, когда тебе чем-то докучали. А сейчас вот никак не могу себе простить тогдашнюю свою несмелость. Следовало растормошить тебя, заставить говорить обо всем, ничего не тая, излить горечь, прикипевшую к сердцу. А ты всю эту боль носил в себе. Конечно же, переживал, что так нескладно получилось с институтом. И теперь скорее всего винил не столько себя,

как тех людей, с которыми якшался. И стыдился односельчан. В свои новые друзья ты выбрал одиночество. Оно не мешало тебе оставаться самим собой и поразмыслить о случившемся. Я считал, что тебе совестно было и перед мамой с Нурли. И, признаться, меня иногда это радовало: «Значит, мой брат не утерял чувство самоконтроля. И самого главного — совести». И дожидался, набравшись терпения, когда ты, перемолов в себе все дурное, встанешь наконец и, подойдя к двери, распахнешь обе створки, щурясь от яркого солнца, глубоко и облегченно вздохнешь. Скажешь весело: «А знаешь, братец Дадели, я ведь не медведь, всю зиму бока отлеживать. Надо и делом заняться...» И перво-наперво выведешь из сарая свой затканный паутиной велосипед, разберешь его, чтобы почистить и смазать автолом, и примешься за починку. А потом... Тебе виднее, что делать потом.

Как-то раз под вечер к нам пришли директор нашей школы Бяшим и Сахетли, приехавший навестить родных. Днем в клуб привезли новый кинофильм; возвращаясь с работы, я видел афишу и собирался пойти. Но теперь я решил остаться дома, чтобы посидеть со взрослыми и послушать, о чем они будут говорить. Правда, я делал вид, что ничуть не прислушиваюсь к вашему разговору, а увлечен всего-навсего книгой, которую положил на колени и листал время от времени. Сам же втайне надеялся, что наконец-то, может быть, прольется свет на твои таинственные похождения. Ведь Сахетли они хорошо известны.

Мама разливала чай. Нурли занимал гостей беседой, стараясь сгладить впечатление от неразговорчивости своего брата. Однако ты немного повеселел и порой даже вставлял в разговор словечко.

И все же затянувшаяся допоздна беседа не оправдала моих надежд. Я не узнал ничего нового о твоей жизни в городе. Бяшим и Сахетли, к моему удивлению, совсем не интересовались этим. Говорили на отвлеченные темы: о школьных делах, о подготовке к посевной. Ты и сам не заметил, как вступил

в разговор, оживился, хохотал вместе со всеми. И не видел, как лучились мамины глаза, когда она смотрела на тебя и переводила взгляд, полный значения, на Нурли.

Хотя мне не привелось узнать ничего нового про тебя, мой брат, все равно я не жалел, что не пошел в кино. Вы упоминали в беседе так много интересного, что я, увлекшись, не заметил, как пролетело время. Близилась полночь, когда Бяшим взглянул на ручные часы и спохватился:

— Ба! Мы злоупотребляем гостеприимством хозяев!

Пропустив Сахетли вперед, Бяшим на минутку задержался и, обращаясь к Нурли как к старшему из братьев, сказал будто между прочим:

— Пока суд да дело, давайте устроим Аннама на работу. Если он согласится, я могу взять его в свою школу. Или пусть сам подумает, где хочет работать.

Взглянув на тебя, Бяшим спросил:

— Аннам, а ты что скажешь?

Ты ничего не ответил. Твое молчание все приняли за согласие.

РАЗДУМЬЯ ОДИННАДЦАТОЙ НОЧИ

Ты начал работать в школе. Преподавал физику. Ты, кажется, собирался учить и нас, вечерников. Бяшим обещал тебе, если будешь справляться, через годик дать хорошую характеристику для перехода на заочное отделение института. Тебе следовало похлопотать, чтобы зачли те годы, что ты проучился.

Теперь Нурли уже твердо решил женить тебя. Как говорится, «если усердно плакать, даже из слепых глаз потекут слезы», — ему не пришлось далеко ходить в поисках невесты. Он остановил свой выбор на Айджемал. Родители ее ответили: «Поговорите с ней самой. Если согласится, наряжайте ее и забирайте. Лишь бы не против ее воли...»

Я бывал на многих тоях. Однако наш той, поверь, нельзя было даже сравнивать с другими в нашем селе. Нурли постарался. А когда он старается, еще не бывало, чтобы кто-то остался недовольным. По-моему, он устроил такой пир потому, что на сердце у него была двойная радость: младший брат вернулся домой здоровым и целехоньким — это раз, а теперь он еще и женится.

А сам... Про себя Нурли уже не думал. В селении нашем говорили, что Нурли дал зарок не жениться. Не знаю, верно это или нет. Младшему брату не полагается спрашивать о таком. А только знал я из разговоров, что мой самый старший брат Нурли любил в былые времена девушку. Красивая, говорят, была девушка. И тоже любила его. Они мечтали о времени, когда смогут объединить свои сердца. Нурли работал, копил деньги на той. А девушка училась... Но едва она закончила десятый класс, родители ее засватали. Не удалось ей убедить их, что любит другого. Тогда, чтобы успокоить Нурли, она написала ему письмо, что останется верной ему, что бы ни случилось... Они договорились с Нурли уехать вместе. Ночью, когда шумно играли ее свадьбу, она убежала. У реки, в зарослях ее поджидал Нурли. Она была уже на берегу, когда ее стала настигать погоня. И девушка бросилась в ледяные волны. Ее спасли, привезли домой, но она уже не встала... И болела недолго... Тогда-то, говорят, наш Нурли и дал обет не жениться, хранить память о той девушке...

А теперь гремела музыка на твоём тое, брат Аннам. Съезжались гости из многих окрестных селений. Большинство из них я знал в лицо: где-нибудь да встречались. Однако здесь были и люди, которых я видел впервые. Сахетли верховодил тоем. За это время я его узнал так близко, как, может, не узнал бы за всю жизнь. Для Нурли, для нашего дома в дни подготовки к тою он сделал столько доброго, сколько не могли сделать самые близкие родственники.

В другое время я мог бы подробно рассказать о всех неожиданных, смешных и торжественных минутах тоя. Однако

к чему тебе напоминать об этом, когда ты и сам все видел. И, наверное, помнишь. Сейчас я хочу сказать о другом. Чего ты, может быть, не замечал.

Большинство гостей восторгались вами, женихом и невестой, и говорили:

— Тьфу, тьфу, не сглазить бы, хороший той устроил Нурли своему брату! И славную невесту выбрал, молодец! Пусть Аннам и Айджемал пребывают вечно в радости и счастье!

— Хорошая невеста подобна посоху чабана, она украшение дома, — вторили другие. — В ней всегда сокрыто начало большого счастья.

Я ходил между столами: подносил, уносил — помогал Нурли и Сахетли. И порой среди незнакомых людей, оказавшихся невесть как на нашем тое, слышал недобрый шепоток. Особенно меня обозлило, когда один пьяный верзила с приплюснутым носом и лоснящимися толстыми, как сосиски, губами, обгладывая мосол, захихикал и сказал своему соседу:

— Что же будет делать Аннам с той красоткой, которая осталась там? Она, пожалуй, половчее этой и не робкого десятка. Если она сейчас появится здесь, может свадьбу превратить в поминки.

Мне хотелось подойти к нему и сказать: «Ты что болтаешь тут, джигит? А ну-ка, убирайся отсюда!» Но я спохватился и подумал: «Ведь он не мог прийти сюда, если бы Аннам не пригласил его». Как я мог сказать «уходи» своему гостю? Мне только пришлось хорошенько обругать его про себя и уйти. И он, кажется, понял по моему взгляду, что ему было сказано, хотя ни одного слова я не произнес вслух, — он посмотрел на меня округлившимися глазами и уронил мосол. Вытер жирные руки о край скатерти и зачем-то поспешно напялил, надвинул на самые глаза кепку в черно-белых квадратах. Его лицо скрылось в тени козырька.

После свадьбы я стал часто видеть у нас этого человека с короткой бычьей шеей и хитрыми бегающими глазками.

Ростом он был невысок. Зато на каждом его плече запросто уместилось бы по винной бочке — не скатились бы. Сидя у нас, этот человек бойко разглагольствовал, раскатисто хохотал над своими же шуточками и засовывал в рот сразу по пол-лепешки. А ты при нем, я заметил, увядал как-то, превращался в тихого и послушного смиренника.

Кое-какие ваши «деловые» беседы — всякий раз пониженным голосом — достигали все же моих ушей и прибавляли ко мне неприязни к твоему гостю. И к тебе тоже, если уж говорить откровенно.

Однажды я сделался невольным свидетелем такого разговора. Ты вышел проводить своего гостя. Вы стояли возле окна, курили сигарету за сигаретой и разговаривали. Форточка была открытой, и я слышал все.

— Аннам, не дело это — откладывать на последний срок. Он не станет так долго ждать, разве ты не знаешь его? У тебя осталось мало времени — два-три месяца. Не возвратишь вовремя, не жди от него ничего доброго.

— Я получаю небольшую зарплату. Так скоро мне не расплатиться.

— Я и говорю, устройся, куда тебе предлагают. Я уже обговорил с кем надо. И деньга будет в кармане, и шампур с шашлыком в руках. Дело тебе предлагаю, ты пойми. Что ты нашел в этой дурацкой школе? Ведь в ней нищие работают. Подумай хорошенько — и нечего артачиться. Ведь долг все равно выплачивать придется...

— Ладно. Я подумаю.

— Некогда думать-то! Я должен им сказать либо «да», либо «нет».

Я босыми ногами нашарил в темноте туфли и заспешил во двор. Но столкнулся с тобой в дверях. А тот тип уже захлопнул за собой калитку. Если бы ты не стоял на дороге, я запустил бы вслед ему половинкой жженого кирпича. Не сдержавшись, впервые в своей жизни я закричал тебе прямо в лицо:

— Что это за человек? Почему он ходит к нам? Он ведет себя так, словно ты ему должен!

Видимо, мой тон пришелся тебе не по душе. Ты жестко, как разговаривал обычно, когда бывал недоволен мной или хотел подчеркнуть, что ты старший, сказал:

— Иди, Дадели, спать. И знай лучше свои дела. А мы разберемся без адвокатов.

Мне ничего не оставалось, как подчиниться тебе, — что я всегда и делал.

Ты опять стал замкнутым и мрачным. Вернувшись из школы, швырял в сердцах книги на стол, будто они были виноваты, и начинал ругать неблагодарную учительскую работу. Потом ложился ничком прямо на ковер и часами не двигался, закрыв лицо локтем. Мать и Нурли снова встревожились. А еще и Айджемал! Она, бедняжка, места себе не находила, видя такую перемену в тебе.

Ни одной субботы теперь ты не проводил дома, при первой возможности мчался в город. Случалось, не приезжал ночевать домой.

Айджемал, утирая рукавом глаза и стараясь не разреветься в голос, жаловалась Нурли:

— С кем мне поделиться горем, если не с тобой! С Аннамом неладное творится. Ночью глаз не смыкает. А вздремнет, бормочет несуразное, вздрагивает во сне, пугается. А то вскочит, в глазах — страх, и приговаривает: «Не трогайте меня! Я отдам! Я все отдам...» Успокою его, спрашиваю: «Что с тобой?» А он затихнет и молчит опять. Или нальет себе этой — будь она неладна! — выпьет целый стакан и ложится, от меня отвернувшись... А вчера сказал, что нашел себе другую работу. А что за работа, не говорит. Похудел. Не ест ничего. Слез не могу сдержать, глядя на него. А он знай твердит: «Ничего, Айджемал, не печалься. Скоро начнем жить безбедно». А на что мне богатство, если у него на душе камень?.. Все надеялась, что пройдет это у него, спадет камень-то...

Не говорила вам ничего... А теперь работу бросил, на другую перешел.

Айджемал тревожилась не напрасно. Да только мы не смогли помешать тебе. Ты сказал: самому, мол, виднее, где лучше работать.

Каждый день, едва занималась заря, ты стал уезжать в наш районный центр — маленький и тихий городишко.

Нет, неспроста Айджемал тревожилась. И никто из нас не мог ничего поделать, кроме как утешать ее все теми же словами: «Не печалься, все обойдется...»

РАЗДУМЬЯ ДВЕНАДЦАТОЙ НОЧИ

Несколько месяцев меня не было дома. Я жил в том самом городе, где некогда учился ты, мой брат. И я тоже приехал учиться. Только не в институте, как ты, а в профессионально-техническом училище. По правде говоря, я совсем не хотел уезжать из дому. Вовсе не потому, что привык к своему селению (я ведь дальше нашего райцентра нигде не бывал). Просто не хотелось оставлять Нурли одного в тревоге и смятении. Внутренний голос говорил мне: «Не уезжай. Брату будет трудно без тебя...»

Но это я думал так. А руководители нашей строительной конторы думали по-другому. Они считали, вполне резонно, конечно, что быть рабочим — не пустяки, нужно немало знаний и сноровки — значит, не обойтись без специального обучения. В бригаде я был самым молодым, меня и решили послать учиться.

Может, я и не поехал бы, нашел бы отговорку — мало ли что можно придумать. Но Айджемал и Нурли настаивали в один голос: «Отправляйся, Дадели. Счастливого пути! Учеба, она штука такая, не считается с настроением или желанием. Наберись решимости и езжай...»

Я и согласился.

Нурли с мамой проводили меня до автостанции. Садясь в автобус, я пообещал: «Будьте спокойны за меня. Не заставляю вас краснеть перед соседями». Мама просила, удрученная расставанием: «Ну, сынок, смотри, хоть ты не огорчай меня».

А с тобой я не смог попрощаться, брат Аннам. Третьего дня ты уехал на работу и с тех пор не возвращался. Мы слышали, что ты устроился экспедитором при какой-то организации и поэтому часто бываешь в разъездах. Но нетрудно же тебе было сказать об этом хотя бы Айджемал. Если б ты видел, как она горевала, бедняжка. А прощаясь со мной, делала вид, что беззаботна. Еще пыталась утешить меня: «Ты не беспокойся об Аннаме, мы здесь о нем позаботимся. Нурли сходит на его работу, разузнает, чем он занимается... Я тоже стараюсь делать для него, что могу. Может, он куролесит по молодости, но ведь это бывает — и пройдет, и он утихомирится». Она подарила мне на дорогу тюбетейку, которую вышила сама.

Целых полгода не был я дома. Нет, я вовсе не жалел, что поехал в город. Я многому научился, что могло прийти только после долгих лет работы. Оказывается, даже кирпичи, точь-в-точь похожие один на другой, могут быть разными — и их следует по-разному укладывать в стену. Фундаменты для домов закладываются на разной глубине — в зависимости от структуры почвы. В планировке квартир, особенно у нас, на юге, приходится учитывать, где всходит и где заходит солнце. Нас учили даже делать чертежи... Немало понадобилось терпения, чтобы наловчиться пользоваться циркулем, лекалом, логарифмической линейкой.

Я часто получал письма. Но это не убавляло тоски по дому. И можешь себе представить мою радость, когда спустя полгода я вернулся на практику в наше селение. На радостях перед отъездом купил целый килограмм шоколадных конфет и роздал девчонкам, что учились со мной.

К тому времени клуб уже достроили, и пришлось бы мне городить коровник в нашем колхозе, если бы не повезло. Коль

чему-то научился, хотелось показать свое умение другим. У нас ведь говорят: «Не рассказывай, чему учили, покажи, чему научился». И вот как раз к моему приезду из райцентра разослали по колхозам и совхозам письма с просьбой командировать на два месяца лучших строителей — возводить межколхозный Дворец культуры. В конторе думали-гадали и решили послать меня. Я обрадовался, и не столько тому, что буду строить Дворец культуры, сколько оттого, что уже числюсь в лучших строителях.

Помню, как-то раз в обеденный перерыв мы зашли перекусить в районный ресторан. Обычно мы покупали в магазине того-сего и ели всухомятку. А нынче нам выдали аванс. Поэтому решили легонько кутнуть. Я не собирался пить, мне всего лишь захотелось вкусно поесть. Из окон, затянутых тонкой металлической сеткой, за которыми была кухня ресторана, неслись такие запахи, что слюнки текли. Давно я собирался побывать здесь, да не было в кармане лишнего рубля. А тут мои товарищи быстренько собрались и отправились в ресторан. Про нас ведь говорят: «если хочешь, чтоб туркмен переселился, проведи мимо него караван». Вот я и увязался за ними.

Когда мы зашли в ресторан, я просто диву дался. Не из-за того, конечно, что увидел опрятную, чистую столовую: на столиках белые скатерти, кто-то даже цветочки в вазы поставил, а на стене, как раз напротив окон, — большущая картина; кажется, шишкинские медведи. Когда я учился, у нас была столовая не хуже. Удивился я потому, что за прилавком буфета увидел тебя. Ты стоял в белом халате, а на голову напялил белый колпак. Мы поздоровались. Я тебя не видел со вчерашнего дня, когда ты ночевал дома. Сейчас ты был весел, дома я не часто видел тебя таким. Шутил с официанткой, смеялся. Из открытой двери за твоей спиной доносились оживленный разговор, смех, звяканье посуды — там веселилась какая-то компания. Мое предположение перешло в уверенность, когда из той двери появился красный, как свекла, человек

с приплюснутым носом, твой приятель, с появлением которого у меня все переворачивалось внутри. Ты сказал ему:

— Мой братишка вот пришел. Выпей-ка с ним по стопочке.

А мне не только выпить с ним — в лицо ему глядеть не хотелось. Видимо, он почувствовал это и отмахнулся:

— Впереди еще много времени, подружимся. Кроме того, я вижу, у твоего братца хватает и своих товарищей. — Он осклабился, метнул на меня острый взгляд бесцветно-водянистых глаз и, что-то сказав тебе на ухо, вернулся в комнату, где шла пирушка.

Тогда ты сам взял стопку, налитую для него, другую придвинул мне:

— Давай выпьем, браток. Один раз живем на свете...

Я не понял, к чему ты сказал это. Но взял стопку и, запрокинув голову, залпом выпил. Ты протянул мне на вилке кусочек сыра. Но я уже повернулся спиной к тебе и подсел к товарищам. Расторопная официантка подала еду. Я наклонился над тарелкой и молча принялся есть. От глаз ребят не укрылось мое подавленное настроение. Они пытались развеселить меня.

— Ты, кажется, не хотел пить, а опередил нас, голубчик?

— Если бы твой брат был буфетчиком, и ты бы не пропустил такого случая, — заметил другой, посмеиваясь.

— А разве этот буфетчик его брат?

— А ты думал, добряк нашелся, задаром предлагает выпить?

— Об этом буфетчике так не подумай. Тот еще жох! Вчера меня на полтинник надул. Значит, ты за мой счет выпил, братец.

— А ну-ка, отстаньте от Дадели. Что вы к нему привязались? Разве вы видели, чтобы Дадели раньше брал в рот эту гадость. Это было в первый и последний раз. Правда, Дадели?

— Может, и увидели б, да ему некогда — в свободное

время нужно книжки почитывать. Ведь в институт человек собирается...

— Или за девчонками поволочиться... Жениться тоже собираешься, а, Дадели?

— А как же за ними волочиться, если хоть иногда не выпить?

Я помалкивал да ел себе, не обращая внимания на шпильки. Кто-то из парней вынул бутылку. Разлили, выпили.

Когда мы уходили, ты вышел из-за стойки, сказал мне:

— Дадели, загляни перед закрытием ресторана. Домой вместе пойдём.

Я, не глядя на тебя, кивнул и вышел следом за ребятами, на ходу надевая шапку.

После работы я зашел в кино, фильм показывали двухсерийный, так что сколачиваться по городку пришлось недолго.

Окна ресторана ярко светились. Однако из-за опущенных плотных шелковых занавесей я не мог разглядеть, что происходит внутри. Сквозь двойные стекла отчетливо слышалось нестройное пение, выкрики, смех. И тихо, казалось, далеко-далеко играла музыка. Но дверь почему-то оказалась запертой. Я постучал, но никто не откликнулся. Поколебавшись, я забарабанил кулаком. Дверь приотворилась, выглянула сторожиха.

— Ты братишка Аннама? — сонным голосом спросила она.

— Да, — подтвердил я.

— Входи, он давно тебя ожидает.

Я поблагодарил ее и скользнул в темную расщелину двери. Миновав гардеробную, отворил массивную двустворчатую дверь в зал. И пожалел, что пришел. За сдвинутыми в длинный ряд столами, заставленными всевозможными яствами и бутылками, сидели уже захмелевшие мужчины и женщины. Если бы я знал, что ты приглашаешь меня на вечеринку, я бы сразу отказался. Бывало, в компаниях, где одни только свои ребята и девчонки, и то я как-то неловко себя чувствовал.

Особенно если рядом со мной девушка. За весь вечер я не мог выговорить ни слова. Знаю, за столом парню подобает ухаживать за девушкой. Так вот, если бы они на меня надеялись, то всегда вставали бы из-за стола голодными... А здесь ни одного знакомого лица. Хотя нет, ошибаюсь. Вон знакомый. Тот тип, что носит пеструю кепку. А ты сидел в самом конце стола, лицом ко мне. Но видеть меня ты не мог. Я стоял за плюшевой гардиной, не решаясь появиться в зале, гадая, подойти мне к столу или нет. Будь я не в телогрейке и стеганых брюках, вымазанных раствором, в обливной шапке с отпорочившимся козырьком — тогда еще куда ни шло. Я бы скорее всего зашел, сел рядом с тобой, поглядел бы, что у тебя за друзья, под стать ли они нашим парням. А сейчас я испытывал неловкость.

Откуда-то из полутемного угла, где стоял большущий фикус, доносился усталый звук магнитофона. Смеялись женщины. Вдруг я увидел еще одно знакомое лицо. И невольно вздрогнул, узнав. Из-за стола встала и медленно направилась к тебе та женщина, с которой ты фотографировался, помнишь? На ней было обтягивающее фигуру черное платье, блестевшее в электрическом свете. Красивое платье, только без рукавов и без воротника. Мало сказать, без воротника — она почти всю грудь выставила напоказ. Подошла, обняла тебя за шею и села к тебе на колени. Твои друзья захлопали в ладоши:

— Браво, Земфира! Горько!..

— Земфира! Спой что-нибудь в честь вашей встречи! В день его рождения ты — самый лучший подарок!

Откинув голову, она посмотрела на тебя, растянув в улыбке ярко-красные губы. Потом обвила твою шею белыми, как алебастр, руками и сомкнула пальцы.

— Поздравляю! — Она звучно чмокнула тебя в щеку. Затем провела рукой по твоим бровям, коснулась ресниц и, не сводя с тебя глаз, запела низким, неожиданно приятным голосом лихую цыганскую песню.

Все приумолкли и слушали. Допев, она почему-то крик-

нула: «Сволочь!» — и, соскочив с твоих коленей, ударила тебя по щеке. Было все еще тихо — и пощечина прозвучала как выстрел. Я весь передернулся, будто это меня смазали по лицу. Когда бьют твоего брата, время ли думать о приличии? Я подбежал к ней и, схватив ее за руку, крикнул:

— Что вы делаете? Если бы вы были парнем...

Она выдернула руку и, взявшись за то место, где я больно сдвинул, спросила, округлив изумленно глаза:

— Бог ты мой, кто это?..

— Его брат, — буркнул тот, что носил пеструю кепку, и, хихикая, отправил в рот куриную ножку.

Она окинула меня презрительным взглядом, потом рассмеялась и, затянувшись, выпустила мне в лицо дым сигареты.

А ты, мой брат, к моему удивлению, сидел как ни в чем не бывало. И даже улыбался. Видимо, уже привык к такому обращению. Я-то бросился, думая, что тебе нужна моя помощь... Но ты, кажется, уже забыл, что произошло всего минуту назад. Со всех сторон к тебе тянулись с рюмками, галдели:

— Выльем, дружище!

— Твое здоровье!

— Получить шлепок от такой женщины я бы за счастье почел!..

А ты смотрел на меня отрешенно и вроде бы недоумевал, как это я очутился здесь. Коньяк из твоей рюмки проливался на пол.

Я резко повернулся и ушел. Со злостью захлопнул дверь.

О чем я только не думал по дороге домой! Часто останавливался; то хотелось вернуться и начать швырять камни в окно — распугать всю вашу компанию, то собирался поговорить наших ребят-строителей подкараулить ту пеструю кепку и вздуть хорошенько. Мне казалось, что он один всему виной... Я брел по подмерзшей дороге в свой поселок и беззвучно плакал. Как ни вытирал рукавом телогрейки щеки,

а они все оставались мокрыми, и ветер обжигал их. Ночь стояла тихая. Редкие звезды безучастно глазели со своей вышины, луна выглядывала из-за туч, похожих на клочки распушенной ваты, высвечивала землю голубоватым лучом.

Я слышал от стариков, будто Искандер Великий в тягостные минуты рассказывал о своих горестях воде. Вспомнил об этом, когда проходил мимо нашего озера. Оно дремало. Камыши нашептывали ему сны. В лунном свете казалось, что это и не вода вовсе, а молоко. Я подошел к берегу и сел на траву, мокрую от росы. Я поведал воде свою обиду на тебя, мой брат, и на твоих дружков. И она будто поняла меня — чуть слышно вздохнула, у самых ног моих шлепнулась о берег волна, откатилась, переливчато позванивая.

Не знаю, почему Искандер Великий обращал свой лик именно к воде. Мне кажется, когда сидишь у воды, видишь ее спокойствие и не забываешь в то же время о могучей ее силе, начинаешь вдруг ощущать, как в душу твою приходит мир. Если тебе нужно будет принять какое-нибудь важное решение, советую тебе, брат мой, посиди у тихой воды.

Я смотрел на дорогу, прислушивался, ожидая уловить звуки твоих шагов. Ночью в такую тишь услышать можно раньше, чем увидеть. Я надеялся, что ты пойдешь этой дорогой. Потому что только она вела в наше селение.

Временами доносился из селения далекий лай собак. Я знал их по голосам и мог безошибочно назвать имена их хозяев.

Вскоре в нашем селении погасли последние огоньки. Я продрог у воды. Встал и медленно побрел домой. Вода мне посоветовала ничего не говорить невестке, а рассказать обо всем Нурли.

РАЗДУМЬЯ ТРИНАДЦАТОЙ НОЧИ

Перед глазами неотступно маячила рыжая Земфира. Она заслонила собой даже того крепыша в пестрой кепке. Мог ли я сравнить ее с нашей снохой? Разве стоила она хотя бы ног-

тя нашей Айджемал? Нет, нет, как это повернулся у меня язык сравнить их!

В одной из сказок говорится, что даже дракону не удалось убежать от плохой женщины. Как же ты теперь, мой старший брат, избавишься от Земфиры? По-моему, достаточно увидеть ее один только раз, чтобы смекнуть, какова она, эта Земфира...

Я представить себе не мог, что будет, если когда-нибудь придет эта Земфира к нам домой и скажет нашей снохе, пустив ей в лицо дым от сигареты: «Какого черта ты держишься за брюки Аннама! Он мой!» Разве наша бедная сноха переживет такое? Если мы ее и не похороним после такого стыда, так она живая провалится сквозь землю. Ведь у нас говорят: «Лучше ослепнуть, чем увидеть, как на тебя показывают пальцем».

А мама? Если она потеряет любимую невестку — это сломит и ее.

А что будет отвечать Нурли, когда обо всем начнут спрашивать любопытные? Тогда хоть совсем из поселка уезжай. И не начнется ли разлад между нашей семьей и родственниками Айджемал, не проползет ли змея между нами?

Все эти мысли не дали мне сомкнуть глаз до утра.

За завтраком я выпил чаю покрепче, чтобы ненароком не вздремнуть на работе да не свалиться со стены, которую возвел собственными руками на целых три метра с лишком.

Нурли, как всегда, вытер губы краем полотенца, возблагодарил аллаха и поднялся на ноги, не дожидаясь, пока другие кончат есть, — он всегда спешил на работу. Я оставил на дастархане недоеденный кусок лепешки и торопливо поднялся следом. Когда мы вышли за калитку, я ему обо всем рассказал, что видел вчера. Нурли не удивился. Оказывается, он знал гораздо больше моего. Ему кто-то сообщил даже адрес, где ты, Аннам-ага, всякий раз пропадал, не ночуя дома.

— Сегодня мы втроем — я, Сахетли и Бяшим — собираемся наведаться туда. Если располагаешь временем, можешь

пойти с нами, — сказал Нурли и, весело подмигнув, надвинул мне шапку на глаза.

Я поправил шапку. Нурли удалился уже, степенно и тяжело шаркая по мерзлой земле истертыми каблуками сапог.

Почему у меня не будет времени? Конечно, будет! Если я могу тебе чем-то помочь, мой самый старший брат, я брошу все свои дела, откажусь от всех сокровищ мира. И ты об этом хорошо знаешь, Нурли-ага. Поэтому слова «если располагаешь временем» я отнес к обычной твоей учтивости, ага.

Вечером мы вошли в небольшой дом на окраине городка. Его окна были плотно завешены, и с улицы казалось, что хозяева давным-давно спят. Но это было не так.

В потемках пробрались мы через небольшую прихожую и отворили дверь в комнату. Не сразу разглядели людей, сидящих вокруг стола: было так накурено, что сквозь сизый туман их силуэты казались призраками. Одни сидели на табуретках спиной к двери, другие развалились на кровати, сдвинутой в угол. Под столом валялись окурки, огрызки яблок, опорожненные бутылки. А на столе — деньги. Перед каждым из вас кучка денег, и на пестром ворохе — рука владельца с растопыренными пальцами, — будто боитесь, что отнимут. А в свободной руке — веер карт...

Нас никто не заметил. До нас ли вам было... Тут я услышал твой голос, мой старший брат. Правда, он очень не походил на твой настоящий голос — был визгливым от напряжения и дрожащим. Но это ты крикнул:

— Ва банк!

И тут же откликнулся чей-то голос, полный восторга:

— Перебо-о-ор!

Несколько секунд царила тишина. Кто-то, крепко затянувшись, шумно выдохнул струю дыма.

— Вот! Забирай! На!.. — выкрикивая срывающимся го-

лосом бессвязные слова, ты извлек из-под подушки целый ворох денег, швырнул их тому, кто сидел напротив тебя.

И тут я узнал в нем по выпуклому, как тыква, затылку того человека, твоего дружка, виденного мной в ресторане. Бы все разом загалдели, стали доказывать что-то, перебивая друг друга. А он сграбастал деньги и начал считать.

В этот момент ты увидел нас. Мы стояли у двери — Нурли, Бяшим, Сахетли и я. По правде говоря, мне стало немножко боязно. Я не двигался с места, глядя на старших, ожидая, что предпримут они. Я подумал даже, что, может, гораздо лучше было бы поговорить с тобой где-нибудь в другом месте. Однако Нурли и его друзья, видать, решили потолковать со всеми сразу. Они стояли и ждали, пока наступит тишина. Ты попытался выбраться из-за стола, чтобы подойти к нам. Но твои дружки схватили тебя за плечи и усадили на место.

— Ты что же, хочешь смотаться? Эка важность, если проиграл, — еще выиграешь!

— Садись, не думай улизнуть. Мы не можем так просто отпустить Попуша!

— Не отпустим! Он почти все наши деньги положил в карман. Надо отыгаться. Ты ведешь себя как мальчишка, Аннам!

Тогда Бяшим выступил вперед и спокойно обратился к сидящим:

— Здравствуйте, джигиты.

Все одновременно посмотрели в нашу сторону. На приветствие ответили всего двое или трое — и то нехотя, под нос себе. Застигнутые врасплох, многие как-то сразу сникли и стали беспокойно переглядываться. Твой дружок, которого называли Попушем, медленно обернулся и целую минуту помутневшими глазами рассматривал пришедших, перекаывая сигарету из одного угла рта в другой и щурясь от едкого дыма. Мне врезались в память — будто сейчас вижу — его бесцветные

глаза. Они были страшные. По-моему, они, смотревшие на нас, ничего не видели, кроме денег. У Попуша дернулась левая бровь. Он повернулся к столу и стал поспешно собирать бумажки.

— Бог в помощь, джигиты! — сказал Бяшим.

Кто-то поблагодарил, хихикнув — не разглядев иронии в словах Бяшима. Но Попуш ее, кажется, почувствовал. Он снова поворотил грузное туловище и взглянул на нас, затем потянулся к кровати и стал шарить под одеялами, словно что-то потерял.

Сахетли, оказывается, уже был знаком с ним. Очевидно, с тех времен, когда Попуш приходил к тебе в общежитие. С усмешкой спросил Сахетли:

— Что, Попуш, не очень много перепало?

— Сколько перепало, все мое! — ощерился Попуш, наконец отыскав под матрасом что-то тускло блеснувшее и засовывая это в карман.

Бяшим подошел к столу и, выдвинув свободную табуретку, сел.

— Неужели в этом почтенном доме забыли о гостеприимстве? — спросил он. — Ведь тому, кто входит в дом, обычно говорят: «Добро пожаловать! Садитесь».

— Мы разве вас приглашали?

— А разве нежданный гость не гость? Мы хотим совсем недолго посидеть с вами и потолковать кой о чем.

— Мы насиделись уже. Хотите — усаживайтесь. А мы пойдем.

Наконец-то тебе, мой старший брат Аннам, удалось выбраться из-за стола. Ты сам не свой подошел к нам и, стараясь выпроводить нас за дверь, сказал взволнованно:

— Не спорьте с ними. Они не стоят того...

Попуш резко обернулся.

— «Они» — это мы, что ли? — спросил он, медленно подступая к тебе, и его глаза сузились в щелочки.

Ты побледнел. Ты начал пятиться к двери. Попуш замахнулся на тебя, но Нурли перехватил его руку.

— Мы не ссориться пришли, а поговорить по-людски, — сказал он и оттолкнул Попуша.

Тот не упал, нет. Да у Нурли и сил-то не нашлось бы, чтобы свалить такую тушу. Попуш только грузно осел на кровать, она скрежетнула под его тяжестью. Остальное произошло за какое-то мгновение. Попуш втянул голову в плечи и вдруг, выпрямляясь, сделал выпад вперед — как гюрза, кидающаяся на жертву... Помню, как Нурли схватился за бок и стал медленно оседать. Мы бросились к нему. Из-под кармана его белого кителя, сшитого совсем недавно мамой, стала просачиваться кровь. Лицо сделалось восковым. Он смотрел на меня, будто хотел что-то сказать, а глаза медленно тускнели. Я, плача в голос, содрал с себя рубашку и, скомкав, прижал к его груди, пытаюсь остановить кровь.

Тем временем в комнате не осталось никого. Сшибаясь, топчая друг друга, картежники ринулись в узкий проем двери, чтобы поскорее оказаться на улице. Сахетли и Бяшим бросились за ними вдогонку.

Хотя нет, в комнате оставался еще ты. Ты стоял, прижавшись к стене, распластав руки, и не двигался. Глядел остановившимися глазами на Нурли.

А он лежал на кошке. Я неловко держал его голову у себя на коленях и, не зная, что делать, кричал в отчаянии:

— Мой брат!.. Нурли-ага!..

Он не отзывался. Руки его потяжелели, и перестали подрагивать пальцы. Вскоре в комнату вернулись Сахетли и Бяшим. С ними пришли три милиционера. Ты по-прежнему стоял как вкопанный, не решаясь ни подойти к нам, ни убежать. Сахетли и Бяшим осторожно подняли Нурли и понесли на улицу. У дома подле дверей стояла машина. Мы с трудом положили Нурли на заднее сиденье. Помню, ты хотел тогда вместе с ними сесть в машину, чтобы отвезти Нурли в больницу.

Но подошел один из милиционеров и сказал, что тебе следует идти совсем в другое место — вместе с ними.

Мы ехали молча, на поворотах придерживая Нурли. Скорее всего мы все трое думали об одном и том же: что наши пути разошлись с твоим, что, если ты придешь к кому-нибудь из нас в дом, никто тебе не скажет: «Добро пожаловать! Присаживайтесь, пожалуйста...»

РАЗДУМЬЯ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ НОЧИ

«...Суд идет!»

Люди, до отказа заполнившие зал районного суда, как один, поднялись на ноги. Я обвел взглядом присутствующих. Несмотря на то, что в колхозах готовились уже к весеннему севу, почти все наше селение было здесь.

У стены по правую сторону, недалеко от судейского стола, за тесной деревянной загородкой сидели трое стриженных наголо. Один из них — Попуш. Другого мне довелось видеть всего раз, в ту трагическую ночь, и я не знал его имени. Третьим был ты, мой старший брат.

Того, кто прежде носил пеструю кепку, лихо заломив ее на висок, трудно было теперь узнать. От его бычьей шеи, которая едва двигалась при повороте головы, ничего не осталось. В воротник его рубахи влезли бы теперь две такие шеи. Он сидел, опершись руками о колени, расставив локти, поглядывал исподлобья в зал. Только глаза, пожалуй, остались прежними — бесцветные, маленькие и злые...

Больше, чем на других, я смотрел на тебя, мой брат. Все-таки ты был мне родным: возможно, поэтому я ничего не мог прочесть на твоём осунувшемся лице, ничего, кроме раскаяния. Ты иногда вытирал носовым платком стекавший со лба пот. Платок был грязный, и я подумал: «Нельзя ли передать ему другой платок, чистый?..» Во время перерыва я попросил об этом конвоира. Однако мы были не в родном доме.

Процесс длился три дня, и время никогда не сотрет из моей памяти. Что я пережил, что было у меня на душе я даже сейчас не в силах рассказать тебе, мой брат. Карандаш мой не сможет перенести на бумагу и сотой доли твоих чувств.

Оказывается, я не зря испытывал неприязнь к твоим друзьям в клетчатой кепке. Много преступлений совершил этот Нурберды, сын Непесли, которого во многих городах знали под кличками Волк, Попуш, Черный медведь. За спиной его было не так-то много прожитых лет, а уже дважды уличался в тяжких преступлениях. И получал по заслугам... Потом для отвода глаз устраивался на работу. Люди, надеясь, что он исправился, старались помочь ему, принимали в свой коллектив. Но он оставался прежним Волком, Попушем, Черным медведем.

...Товарный состав мчится в ночи. Мелькают огоньки разрывов, поустанков — и снова крошечная тьма вокруг. Дремут убаюканные перестуком колес проводники... Но есть в поезде человек, который не дремлет. Ему не до сна в ночам. С ловкостью, вовсе неожиданной при угловатой фигуре, бежит он по крышам, перепрыгивает с вагона на вагон. Проворно спускается на платформу, где в два ряда стоят легковые автомобили, недавно сошедшие с конвейера. С одной машины он снимает колесо, у другой округривает что-то в моторе, с третьей срывает дверцу. Поезд мчится, торопясь донести людям плоды их труда, он, этот человек, занят своим: снимает и бросает, бросает снимает...

Много месяцев не удавалось установить, кто так «влюбился» в автомашины. А «невидимка» тем временем сбывал и лишки своих трофеев доверенным людям. Себе оставлял только те, которые самому могли понадобиться, — «жил заботе собрать себе новенький транспорт».

Расскажи мне об этом кто-нибудь другой, я бы не поверил. Однако я слышал это из уст человека, которому оказы

вает доверие народ. У меня не было оснований не верить ему. Я до сих пор, мой брат, не могу понять, что связало тебя с этим бандитом Попушем...

На третий день слушали тебя. Тебе нечего было сказать, мой брат. Ты отвечал только на вопросы. Весь народ в зале смотрел на тебя, а ты старался не глядеть на нас, отвечал еле слышно и вступаясь. Ты тоже, наверное, думал о том, что в больнице мучается сейчас Нурли. Наверное, догадывался, что нашей мамы потому нет в зале, что слегла от горя. Айдже-мал сидела недалеко от тебя, и ты видел, должно быть, что на ее глазах не просыхают слезы.

Когда говорили о тебе, я слышал слова «соучастник», «компаньон», «должник». Еще бы! Ты тратил столько денег на вечеринки. Не своих. Чужих. Ты, оказывается, ко всему еще и запустил руку в народный карман...

— Люди! Нурли скончался!..

«Что я слышу? Какой Нурли? Чей Нурли? Наш Нурли?.. Нет, нет, не может быть!..»

Я потерял дар речи. Весь обмяк как-то, и ноги не держали меня. Глаза застлало туманом. «Ах, Аннам, Аннам, брат мой старший, ты почему так с нами поступил?!».

Зал суда заметно опустел. Вероятно, многие побежали в больницу. Я поднялся и, держась за спинки стульев, неуверенно направился к выходу. Оказавшись на улице, побежал. Во мне теплилась искорка надежды — может быть, Нурли еще жив.

РАЗДУМЬЯ ПЯТНАДЦАТОЙ НОЧИ

...Подобно тому, как я никогда не верил в предсказания снов, я никак не мог поверить в то, что Нурли ушел, оставив нас навсегда... И даже не простился. Невероятно! Не могу поверить...

РАЗДУМЬЯ ШЕСТНАДЦАТОЙ НОЧИ

...Да, Аннам-ага, нас осталось двое братьев. Ты да я. Не хочется верить, но это так. Ты спрашиваешь, почему редко стал приезжать домой... Всякий раз, когда бываю в поселке, не могу избавиться от странного чувства: вот уже столько дней дома, а Нурли еще не повидал. Неясное чувство вины рождается от этого и живет в сердце. Ведь раньше, бывало, если он задержится в отдаленной бригаде, я просил маму испечь что-нибудь вкусное и, вскочив на твой разболтанный велосипед, мчался проведать его.

Вот и теперь все время кажется мне, что он задержался где-то на работе. То и дело порываюсь спросить у мамы: «А где же наш Нурли загулял?»

Помнишь, когда ты вернулся из заключения, я долгое время не мог с тобой разговаривать?.. А мама... На то она и мама. Она бы тебя простила, если бы ты даже на нее саму занес руку.

Ты несколько раз пытался меня утешить: «Будь мужественным, братишка...» Это мне говорили и чужие люди — мол, смерть ожидает каждого из нас, обещали окружить меня вниманием, постараться, чтобы я не ощущал отсутствия своего самого старшего брата. И надо отдать им должное, они сделали все, что могли. Особенно Сахетли и Бяшим. Они очень любили Нурли. Да, его все любили в нашем селении. И чтят по сей день его память. Как видишь, нашу улицу называли именем Нурли. Его не вычеркнули из списка ударников нашего колхоза. Самого Нурли нет, а о нем все говорят как о живом. Потому что он оставил добрый след на земле и хорошую память в сердцах людей...

Что люди будут говорить после нас, мой старший брат? Знаешь ли, я часто об этом думаю. Особенно в последнее время.

Меня радует, что ты работаешь в нашем колхозе. Мне рассказали, как наши односельчане заботились о тебе, когда

ты приехал; особенно приятно было узнать, что тебя приняли в строительную бригаду, где я когда-то работал. Ты пишешь, что бригадир сказал, будто взял тебя из уважения ко мне. Я уверен, он сделал это доброе дело скорее из почтения к памяти Нурли. Я помню, он всегда восхищался нашим старшим братом и советовал мне присматриваться, как сноровисто и искусно выполнял Нурли любую работу. Не мне одному говорил бригадир об этом, а и других наставлял учиться у Нурли старанию.

Передай маме и Айджемал, пусть не сердятся на меня, что я на этот раз не приехал в отпуск. Все свободное время я собирал материал для своей дипломной работы. По секрету — у меня почти готов проект реконструкции нашего селения. Месяца через три буду защищаться. Скажи маме и Айджемал, если комиссия одобрит мою работу, после института приеду домой уже надолго. Это, брат, здорово, что ты пошел в строители! Будем вместе работать. Начнем перестраивать наше селение с улицы Нурли. Кстати, я увеличил его портрет. Повесим его в комнате на самом видном месте.

НАСТУПЛЕНИЕ ДНЯ

Я прочитал свое затянувшееся письмо от начала до конца. Придвинул лист бумаги, чтобы продолжить. Собственно, и продолжать больше незачем. Думаю, из того, что я написал, брат поймет, почему не могу быть на его тое...

Почему я пишу это письмо по ночам, когда тьма обволакивает мир? И недавние дни припоминаю, как кошмарный сон? Да все очень просто. По ночам, когда ни единый звук не напоминает о жизни, мне проще анализировать прожитое: припоминать все до мельчайших подробностей. А днем некогда ударяться в размышления, иногда пообедать нет времени. Выдастся свободный час, надо полистать книгу — вечером зачет в институте.

Мой карандаш коснулся бумаги и медленно вывел первую букву. Смертельно хотелось спать. В этот момент через открытую на балкон дверь в комнату впорхнул ветерок. Приподнял странички моего письма, словно пытаюсь смести их со стола. Я аккуратно сложил их стопочкой и поставил сверху стакан с недопитым чаем.

А за окном голубело утро. Дальние дома, подернутые розовым туманцем, будто парили над синими кущами скверов, облака ожерельем нанизаны были на нити лучей — где-то вставало солнце.

В комнате постепенно проступали из темноты шкаф с книгами, гардероб, металлические кровати, на которых под мятыми байковыми одеялами спали ребята. Желтый круг, падающий на стол от лампы, выцветал с каждой секундой, растворяясь в молодом, всесильном свете дня. Я увидел на краешке стола телеграмму, полученную шестнадцать дней назад. Я взял этот голубой, как раннее утро, листок бумаги с бисером печатных букв и долго разглядывал его, вдумываясь в смысл каждого слова и даже пропущенных предлогов. Надо же, моего маленького племянника назвали Нурли. Ему дали имя дяди, принявшего на себя удар, предназначенный его отцу. Старший Нурли, уходя, завещал жить младшему. Теперь суждение людей о Нурли будет зависеть от младенца, который пока что в пеленках и почмокивает соской... Теперь его судьба в какой-то мере зависит и от меня, как некогда моя жизнь была связана с моим самым старшим братом, с Нурли. Если мой племянник где-нибудь споткнется или свернет с прямой дороги, люди осудят перво-наперво его отца, а затем покажут пальцем и на его дядю.

Я сидел задумавшись. Я не мог приказать руке, чтобы она вывела в письме «не приеду на той...». Встал из-за стола, потянулся — аж хрустнуло в спине, вышел на балкон, закурил.

По тротуару уже сновали редкие прохожие, проехал троллейбус, у соседей заплакал ребенок. Я вздрогнул от его

крика, будто услышал зовущий голос своего племянника. Мне показалось, что маленький Нурли заплакал оттого, что я не хочу приехать на его той. Я невольно улыбнулся своим мыслям. «Надо сегодня после работы зайти в деканат — попросить, чтобы отпустили на два дня...»

Воробьи зачирикали подле моего балкона, осыпая росу с листьев. Радовались вместе со мной наступлению нового дня. Тому, что ночь не длится вечно. Что каждое утро, изгоняя мглу, восходит солнце.

ОБ АВТОРЕ

Молодой туркменский прозаик Абдулла Мурадов в своей республике до недавнего времени был известен как критик и литературовед. Им проделана большая исследовательская работа по выявлению тесных связей и взаимовлияния братских литератур. Написанная за последнее время монография «Русско-туркменские литературные отношения» и выпущенная в свет книга «Мой русский брат» рассказывают о той огромной пользе, что приносила национальным писателям учеба у великих русских классиков.

Абдулла Мурадов не сразу начал писать рассказы и повести. Очевидно, чтобы сделаться истинным творцом, сперва надо накопить значительный опыт, питая жадный интерес к творениям своих соратников по перу, к людям и их профессиям, к самой жизни, как это делал Абдулла.

Не случайно его первая повесть была написана на документальной основе и посвящена народной артистке СССР Соне Мурадовой.

С творчеством А. Мурадова всесоюзный читатель знакомится впервые. В эту книгу вошли две повести — «Белая мгла» и «Ночи, ночи и... день».

В Туркмении говорят, что только тот вправе называться человеком, кто необходим людям. Через все произведения А. Мурадова красной нитью проходят философские размышления о смысле человеческого бытия, об ответственности человека не только перед своими современниками, но и перед теми, кто еще не родился, — перед нашим будущим.

Повесть «Белая мгла», давшая название всей книге, посвящена молодому человеку, который раздумывает над своим призванием, своим местом в жизни.

Ее герой — Дурды, будущий учитель. Он родом из затерянного в Каракумах аула, мечтает о будущем, когда пустыня станет цветущим садом, а среди безжизненных глинистых проплешин — такыров — протянутся голубые ленты каналов и арыков, и вокруг раскинутся хлопковые поля, сады, бахчи, виноградники, земля станет такой же яркой и красочной, как знаменитые туркменские ковры. Но мечтать — мало. Дурды раздумывает о том, какую лепту надо внести во все это самому, чтобы мечта сделалась явью.

Много трудностей подстерегают Дурды и Донди — девушку, которую он любит. Но трудности для них — лишь серьезное испытание на право называться человеком. Они проносят свою любовь сквозь время и разлуку незапятнанной, как символ чистоты и благородства.

Значительность темы, глубина раздумий в произведениях А. Мурадова сочетаются с простотой их выражения.

Однако повесть «Ночи, ночи и... день» композиционно построена не совсем обычно. Писатель избрал форму писем-новелл — их пишет Дадели, молодой рабочий-строитель, своему старшему брату, с которым у него издавна весьма сложные отношения. Автор показывает реальную жизнь и ничего в ней не упрощает, внимательно прослеживает диалектику души своих героев, глубоко проникая в мир их переживаний и страстей.

Известно, что Восток издревле славился высокой поэзией, в которой раскрывались с глубоким психологизмом все тонкости человеческих переживаний. А. Мурадов давно увлечен поисками и изучением устного народного творчества. Быть может, именно это помогло ему так достоверно изобразить простых людей — тружеников полей, рабочих, студентов, — тонко и деликатно раскрывая их внутренний мир, высокие порывы, двигающие ими всегда и во всех поступках. Умение в лучших своих страницах слить воедино мудрость и психологизм восточной поэзии с аналитической прозой современности — заслуга писателя.

Эмиль АМИТ

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Белая мгла. Повесть | 5 |
| Ночи, ночи... и день. Повесть | 163 |
| Об авторе | 222 |

Мурадов Абдулла

БЕЛАЯ МГЛА. Повести. Авториз. перевод с туркменского
Эмиля Амита. М., «Молодая гвардия», 1971.
224 с. («Молодые писатели».) С(Туркм.)2

Редактор *С. Швелев*

Художник *Б. Шляпугин*

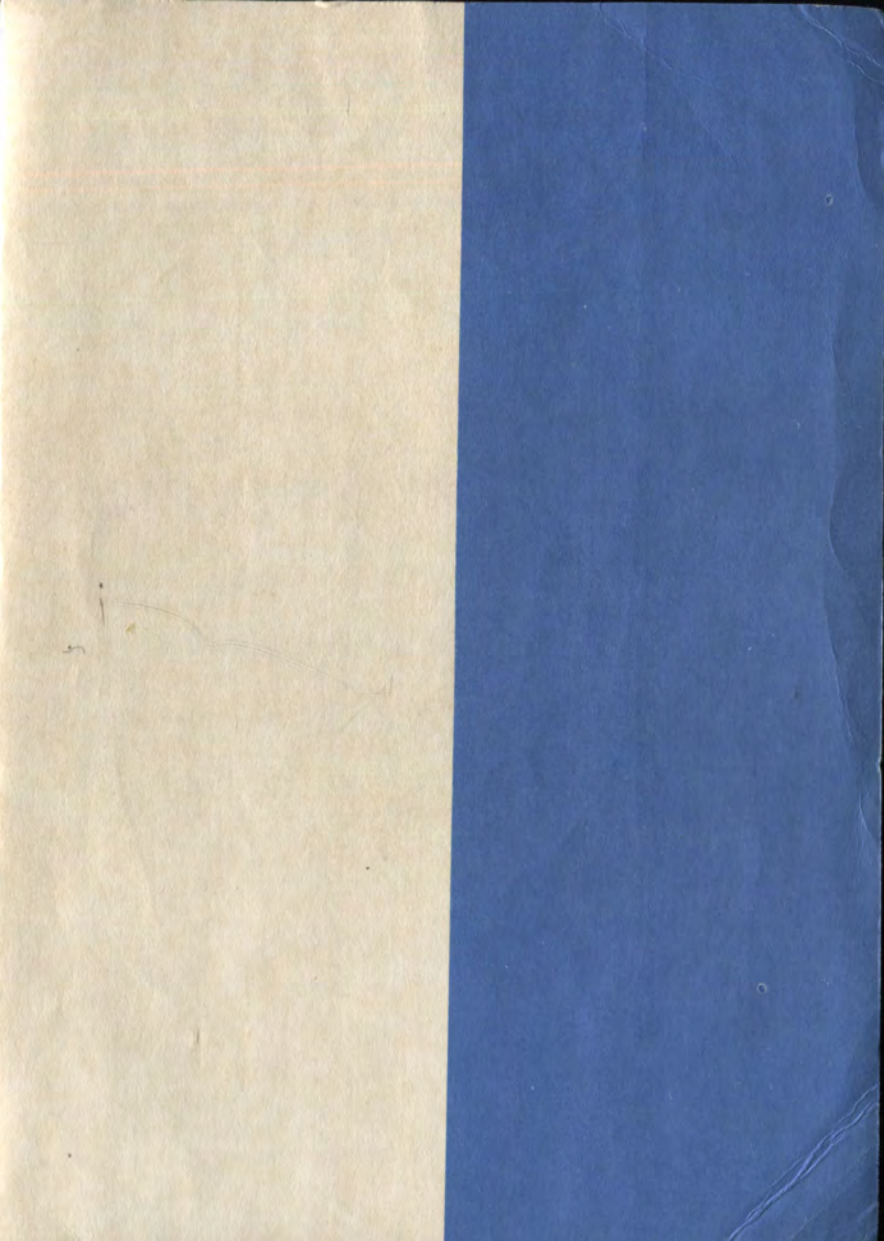
Художественный редактор *Н. Печникова*

Технический редактор *З. Сутченко*

Корректоры: *А. Стренихеева, Г. Василёва*

Сдано в набор 5/V 1971 г. Подписано к печати 28/X 1971 г.
А08250. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 3. Печ. л. 7 (усл. 9,8).
Уч.-изд. л. 11. Тираж 100 000 экз. Цена 33 коп. Т. П. 1971 г.,
№ 256. Заказ 1037.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.



33 коп.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ